ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОПАТИН

(1845—1918)

ПЕТРОГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Герман Александрович
ЛОПАТИН

(1845—1918)

Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография.

Подготовил к печати А. А. Шилов.



ПЕТРОГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922.

Гиз. № 1111.

17-я Госуд. типография, Петроград, 7-я рота, 26.

Р. Ц. № 1399. Тираж—15000 экз.

От редакции.

В настоящей книге собраны все появившиеся в печати, легальной и нелегальной, принадлежащие перу Г. А. Лопатина его корреспонденции в лавровском „Вперед“, статья из „Народной Воли“, воспоминания и заметки, писанные им по разным поводам, стихотворения. Произведениям Г. А. Лопатина предпослана история его жизни, изложенная им самим в письме к В. В. Водовозову, и имеющие большое автобиографическое значение объяснения и показания Г. А. Лопатина, данные им при официальных расспросах и допросах по первым революционным делам его молодости (1866—1873). Эти материалы, освещающие прикосновенность Г. А. Лопатина к Каракозовскому делу, его участие в т.-н. „Рублевом Обществе“, период жизни его под надзором в Ставрополе и пребывание в Сибири, появляются в печати впервые.

Автобиографическое письмо Г. А. Лопатина сообщено В. В. Водовозовым и снабжено вступительной заметкой последнего. Все показания Г. А. Лопатина извлечены из архивных дел, снабжены вступительными заметками и прокомментированы А. А. Шиловым; им же выбраны из журналов и снабжены комментариями все статьи Г. А. Лопатина, кроме написанных им в последние годы заметок, собранных и комментированных С. А. Штрайхом. Стихотворения Г. А. Лопатина сообщены по рукописям автора С. Я. Штрайхом и им же снабжены примечаниями. Библиография о Г. А. Лопатине составлена А. А. Шиловым.

П. Щеголев.

I.

АВТОБИОГРАФИЯ
ГЕРМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛОПАТИНА.

Предварительная заметка.

В начале 1906 г. я письменно из Петербурга обратился к Г. А. Лопатину, жившему тогда в Вильне, с просьбою сообщить краткие автобиографические сведения, нужные мне для заметки о нем, которую я собирался написать для 3-го дополнительного тома Энциклопедического Словаря Брокгауза-Ефрона. Г. А. Лопатин, с которым я незадолго перед тем лично познакомился, посетив его в Вильне, и с которым я переписывался, ответил мне обстоятельным письмом, или, точнее, двумя письмами. Я широко воспользовался автобиографической запиской Г. А., но так как общий ее план не вполне подходил к обычному плану словарных статей,—что сознавал и сам Г. А.,—а кроме того, так как она была слишком длинна для Словаря, то мне пришлось ее сильно сократить и несколько переделать; с другой стороны, я прибавил к ней общую характеристику Лопатина, как крупной интеллектуальной силы, которой он в своем письме, конечно, не давал. Только в таком измененном виде она и появилась в печати. В виду этого автобиографическое письмо [1]) Лопатина в его подлинном виде сохраняет весь свой интерес, и я считаю нужным поделиться им с читателями.

I.

Письмо Г. А. Лопатина В. В. Водовозову.

Вильна, 22 января 1906 г., 12 ч. н. 18, Тамбовская.

Любезнейший Василий Васильевич!

Сегодня, за обедом, в 4 ч., получил я Ваше письмо, а в 6 ч. уже уселся за исполнение Вашего заказа, который и окончил, если не через $^1/_2$ часа, то хоть через 6 ч., т.-е. к полуночи. Виною тому, конечно, моя неопытность по этой

---

[1]) Оба печатаемые письма хранятся в настоящее время в Музее Революции.

части: написанный мною в третьем лице автобиографический очерк слишком короток для самой короткой биографической статьи и слишком длинен для самой длинной словарной заметки, но зато я предоставляю Вам свободу сокращать и переделывать его по Вашему усмотрению сообразно с Вашими надобностями. Завтра, согласно Вашим указаниям, пошлю его заказным порядком по данному Вами казанскому адресу; не вините меня, если моему письму, при быстроте Ваших передвижений, придется гоняться за Вами по России; мне сдается, что было бы практичнее адресовать его в Питер, но Вам, конечно, лучше знать.

Ваш *Г. Л.*

Кланяюсь В. П. [1]).

Мои главные переводы: 1) Спенсер, Психология, Социология, Этика, 2) Тэн, Les origines, 1-й т., в котором я находил много аналогий с явлениями русской жизни, 3) Карпентер, Спиритизм и аналогичные ему психозы, 4) Грант-Аллен, 5) Романес, 6) Тиндаль, 7) Клиффорд, 8) Маркс (1/3 первого тома). 9) Жоли и многое другое.

II.

Автобиография Г. А. Лопатина.

Герман Александрович Лопатин, дворянин. Род. 13 янв. 1845 г. в г. Нижнем-Новгороде. В пятилетнем возрасте увезен на Кавказ, где окончил курс гимназии с золотой медалью в г. Ставрополе. (Гимназия эта, по количеству и качеству даваемых сведений и по нравам, походила в первые годы его там пребывания больше на бурсу Помяловского, чем на что-либо иное). В 1862 г. поступил в Петербургский университет, где окончил курс кандидатом по естественному отделению физико-математич. факультета. В 1865 г. привлекался к следствию (университетскому, хотя по настоянию III Отделения с. е. имп. вел. канцелярии) за свою роль в студенческой истории, вызванной негодованием на непотизм, обнаруженный будто бы академическими властями при назначении молодого Ленца на кафедру физики.

[1]) Вере Петровне Водовозовой, моей жене. *В. В—в.*

В 1866 г. был привлечен к так-наз. Каракозовскому делу, просидел в Петропавловской крепости более двух месяцев и был освобожден лишь после отъезда из С.-Петербурга Муравьева, который относился к нему очень подозрительно [1]). В 1867 г., прочитав в утренней газете, что Гарибальди бежал с Капреры и идет на Рим, вечером того же дня покинул Петербург и поскакал в Италию, но прибыл во Флоренцию как раз в день Ментонской битвы [2]). Повернув сейчас же назад, заехал в Ниццу, чтобы познакомиться и побеседовать со стариком А. И. Герценом. Весной 1868 г. был арестован по делу так-наз. „Рублевого Общества“, сложившегося в Москве по почину Ф. В. Волховского и имевшего по началу очень скромные цели: некоторое число юношей, жаждавших „уплатить долг народу“, собирались стать кочующими сельскими учителями (нечто вроде позднейших передвижных земских школ). В качестве заработка, получаемого отчасти натурою (на манер учителей из солдат, дьячков, писарей и т. п.), они должны были учить детей. А в качестве как бы развлечения, должны были беседовать со взрослыми на исторические и политические темы, читая им при этом подходящие *легальные* книжки из имеющихся уже в литературе или специально составленных для этой цели другими членами общества. (Сравни позднейшие аналогичные земские начинания). Те же учителя должны были составить подворное статистическое описание каждый своего села по выработанной, но задержанной цензурой, программе, аналогичной позднейшим земским. Чтобы выяснить себе получше матерьяльное положение народа, при малом числе наших сил, эти силы должны были быть распределены по характерным округам: хлебопашескому черноземному и нечерноземному, промышленному, горнозаводскому, степному и пр. Единственным нелегальным пунктом в нашей программе было собирание фактов, наблюдений и опытов по вопросу о том, насколько наш простой народ доступен анти-правительственной, революционной пропаганде,—так как этот вопрос был в то время очень спорным для нас (а попытка его разрешения перешла потом в так-наз. „хождение в народ“). Недохватки заработка для самого аскетического существования долженствовали покрываться периодическими взносами сочувственников, остававшихся „в мире“,

---

[1]) Показания Г. А. Лопатина по Каракозовскому делу—см. ниже, с. 19—27. *А. Ш—в.*

[2]) О пребывании Лопатина за границей в 1867 г.—см. *П. Л. Лавров*, Г. А. Лопатин, Петр. 1919, с. 21—22. Изд-во „Колос“. *А. Ш—в.*

в размере 1 р. в месяц, откуда и временное название „Рублевого Общества“ [1]). Просидев 8 месяцев в III Отделении и Петропавловке, Лопатин был выслан с жандармами в г. Ставрополь, с предписанием местному губернатору определить его на службу при своей канцелярии. Это было *последним* случаем административной ссылки *в этой форме*, прежде довольно частой. (Герцен, Салтыков и мн. др.). Губернатор совсем не теснил своего подневольного чиновника по особым поручениям, так что тот, в продолжение своего годичного пребывания на этом месте, успел даже сделать кое-что полезное: напр., преобразовал местную общественную библиотеку, сделав ее сборным просветительным центром для местной прогрессивной учащейся молодежи, а главное, поднял и провел вопрос о замене в Ставропольской губернии общинно-захватного крестьянского землевладения (защищавшегося „богáтырями“, „каштанами“ и т. п.) общинно-передельным, и притом не по чиновничьим канцелярским указаниям, а по постановлениям сельских и волостных сходов (очень бурных). В конце 1869 г. Лопатин был арестован по телеграфу, вследствие его письма, захваченного при обыске у одного из привлеченных к так-называемому Нечаевскому делу [2]). В самом начале 1870 г. (6 янв.) он бежал со ставропольской военной гауптвахты очень дерзким способом и, после разных приключений, пробрался за-границу. Находясь еще в С.-Петербурге и услышав, что П. Л. Лавров жаждет покинуть свой Кадников для Парижа, он отправился за ним и привез его в Питер, где уступил ему заготовленный для себя заграничный паспорт, а сам остался в Питере до возвращения паспорта по почте, но затем уехал тоже в Париж. От Нечаевского дела он стоял в стороне по теоретическим разногласиям, выяснившимся путем переписки с Нечаевым и Бакуниным (через вторые руки) еще из Ставрополя. Однако, он ездил повидаться с ними в Женеву и уладить с ними кое-какие мелкие дела. Там сошелся с Огаревым и тогдашней русской эмиграцией, очень разрозненной. Затем переселился в Лондон, чтобы быть поближе к Марксу, труд которого он принялся переводить тогда на русский язык. В это же время (в 1870 г.) он был избран в Генеральный Совет Международного Общества Рабочих (Интернационала), членом которого

---

[1]) О „Рублевом Обществе“ и показаниях Г. А. Лопатина—см. ниже, с. 27—43. *А. Ш—в.*

[2]) У М. Ф. Негрескула,—см. ниже; на стр. 44—45 напечатано самое письмо. *А. Ш—в.*

он стал еще в Париже. В конце 1870 года, бросив свой перевод (оконченный позже одним из его друзей) [1], он отправился в Сибирь с целью освобождения Н. Г. Чернышевского. Быстро сделав все разведки и приготовления в г. Иркутске и обеспечив себе даже правительственное содействие, он неожиданно был арестован вследствие одного несчастного совпадения. А именно, один из членов другой компании, задавшейся тою же целью, проврался о ней в Женеве: в результате—депеша из III Отделения в Иркутск: „у вас должен проживать в эту минуту некий человек, имя которого пока неизвестно, по такому-то делу. Ищите“.

Последствия понятны сами собой. Летом 1871 г. Лопатин бежал из особой камеры, отделанной для него при жандармских казармах, но был затравлен по горячему следу 8 верховыми жандармами, вскочившими на неоседланных лошадей и поскакавшими вслед, руководясь криками часового, поднявшего тревогу и пустившегося в погоню пешком. Оправданный судом по взведенному на него обвинению, Лопатин продолжал сидеть в остроге по распоряжению шефа жандармов, собиравшего против него новые улики. Наконец, по настояниям генерал-губернатора Синельникова он был выпущен из острога под строгий полицейский надзор, при чем, в видах пропитания, служил частным образом в местной контрольной палате. Узнав, что справки собраны и что его собираются снова арестовать, он, летом 1872 г., уплыл в двухвесельной душегубке вниз по Ангаре, спустился через знаменитые Ангарские пороги и добрался постепенно до р. Енисея, где и вышел на берег в Усть-Тунгузке, проплыв в одиночку около 2000 старых „екатерининских“ верст (по 700 или 800 саж.). Говорю: „около“, ибо даже карты того времени показывали лишь приблизительные расстояния по данным глазомерных съемок и т. п. Пробравшись через таежный переволок в 60 верст на так-наз. старо-ачинский тракт, он доехал на крестьянских лошадях до г. Томска, где был арестован на улице по фотографической карточке. Несмотря на хорошие бумаги и энергическую самозащиту и даже на то, что губернатор *приказал* отпустить Лопатина, местный полицеймейстер бросился по гостиницам, нашел в одной из них случайного проезжего из Иркутска, хорошо знавшего Лопатина в лицо, и, с его помощью, повернул все дело по другому, вследствие чего Лопатин очутился снова в иркутском остроге. Летом 1873 г., призванный в окружный

---

[1]) Н. Даниельсоном (Николаем—Оном). *В. В—в.*

суд и заметив, что какой-то чиновник, приехавший за справками верхом, привязал свою лошадь к воротам, Лопатин, во время перерыва заседания, вышел вместе с „подчаском“ освежиться на крыльцо, спрыгнул на землю, оторвал повод, вскочил в седло и ускакал в лес, тянувшийся бесконечно на север, вдоль так-наз. якутского тракта. После месячной игры в прятки и множества приключений он переоделся окончательно мужиком и, в собственной телеге и на собственной лошади, добрался шажком снова до Томска, где на этот раз сел благополучно на пароход и в свое время, после новых приключений, прибыл в Питер, а затем в Париж. В Питер попал как раз в самый разгар деятельности так-наз. „чайковцев“ и „хождения в народ“, а приехав в Цюрих, по дороге в Париж, застал там приготовления к выпуску № 1 „Вперед“ [1]). Несмотря на тесную личную дружбу с Лавровым, отказался от сотрудничества в принципиальной части журнала, по теоретическим разногласиям, и поместил в нем лишь фактическое сообщение о любопытной секте „Не-Наши“ и начало биографического очерка о Щапове по поводу его смерти [2]). Следующие пять лет (1874—1879) проживал за-границей, занимаясь переводами и, по семейным и иным обстоятельствам, не принимая правильного участия в деятельности революционных партий внутри России, не принадлежа номинально ни к одной из них, но поддерживая дружеские связи с представителями всяких групп и оказывая им посильные практические услуги. Однако, в Россию наведывался почти ежегодно, на то или другое время, под тем или иным предлогом. Между прочим, в 1878 г. долго проживал в Москве, где вел в коммерческом суде, конечно, под чужим именем, дело о прекращении конкурса над известным электриком Яблочковым, объявленным, было, банкротом. Конечно, часто наведывался и в Питер, где очутился и в день убийства Мезенцева, при чем *словесное* описание примет исполнителя этого дела и его костюма повели к некоторым подозрениям против Лопатина,

---

[1]) Говорится о газете „Вперед“, первый № которой вышел 1 августа 1873 г. *А. Ш—в.*

[2]) Кроме указанных статей, перепечатанных ниже, Г. А. Лопатину принадлежат также перепечатываемые „Воспоминания о Худякове“, „Письмо к Александру II“ и корреспонденция о положении политических ссыльных в Сибири. Предположительно можно приписать ему большую корреспонденцию „Из Иркутска“ („Вперед!“ 1875, с. 201, 244, 306, 334, 436, 499, 598) о положении рабочих на сибирских промыслах и о ген.-губ. Синельникове. *А. Ш—в.*

разрешившимся, однако, на этот раз (да и позже) вполне благополучно. В самом начале 1879 г., узнав о новом повороте идей в русском революционном движении, приближавшем их к его собственным, и получив некоторые приглашения, Лопатин решил переселиться совсем в Россию и приехал в Питер под именем Севастьянова, именем, которое неожиданно надело ему на шею петлю с трех сторон: во-первых, некто Н. заявил, что взятая у него типография „Земли и Воли“ была поставлена к нему некиим Севастьяновым. Во-вторых, доктор Веймар сказал, что револьвер, очутившийся потом в руках Соловьева, был куплен им для некоего Севастьянова. В-третьих, парижский сыщик Воронович известил, что, по слухам, на-днях выехал из Парижа в Питер по важным делам некто Л., и этот Л. оказался теперь въехавшим в Россию по паспорту Севастьянова. Наконец, следствие по делу Соловьева установило на первых же шагах, что Веймар лишь на-днях вернулся из Парижа, где он виделся с Лопатиным, т.-е. с Севастьяновым. Конечно, это совпадение *выдуманных* каждым порознь имен было чисто *случайным*, но зато и роковым, поведшим сначала к аресту, а затем к грозным осложнениям, из которых Лопатину удалось выпутаться лишь через 13 месяцев. Весною 1880 г. состоялось постановление о высылке его административным порядком в Вост. Сибирь или, снисходя к желаниям его родни по жене, в г. Ташкент, где ему представлялся заработок в местном частном банке. Однако, с него потребовали денежный залог в 50.000 руб. за благополучное прибытие из Оренбурга в Ташкент (до Оренбурга его провожал жандармский конвой) и в 10.000 руб. за неотлучное пребывание в Ташкенте. Но в начале 1882 г. он уже избавился от денежного поручительства и был переведен в г. Вологду, откуда в феврале 1883 г. он собственною властью перевелся в Париж. Как известно, Липецкий съезд был в мае 1879 г., так что так-назыв. „Народная Воля“ и сложилась, и достигла своего апогея, и стала склоняться к упадку, особенно вследствие двух крупных предательств, как раз в то время, которое Лопатин провел по тюрьмам и ссылкам. Когда Лопатин приехал в Париж, уцелевшие члены старого Исполнительного Комитета — Тихомиров и Ошанина, присоединив к себе на помощь Лаврова, сосредоточили свои силы на издании „Вестника Народной Воли“ и другой литературы, а в России шла бесплодная вербовка и переорганизация партии с никому неизвестным предателем в центре и под эгидою Судейкина. Как известно, Дегаев

увидел себя вынужденным в мае 1883 г. покаяться Тихомирову и Ошаниной и предложить им любое искупление за свои грехи. Те потребовали убийства Судейкина. Он обещал, уехал и затянул дело в долгий ящик, продолжая, однако, свою „службу". Те погрозили „пропечатать" его за-границей; он прискакал к ним в сентябре, дал новые обещания, уехал и снова стал тянуть дело. В это время Лопатин, проживавший в Лондоне, собрался снова переселиться в Россию и письменно предложил свои услуги Исполнительному Комитету. Ошанина отвечала ему, что они и сами давно уже не давали бы ему покою уговорами примкнуть открыто к ним, но что в Питере теперь ужасно опасно, что им жаль рисковать попусту такой революционной силой, но что эта опасность вскоре минует, и тогда они с радостью... и т. д. Лопатин отвечал насмешливо, что ему не известно „неопасных" дел этого рода, что он не верит в наступление какого-то „момента", неожиданно уничтожающего опасности, что он видит в этих уговорах, если не смешную наивность, то какие-то оскорбительные недомолвки и недоверие. (Впоследствии Ошанина говорила ему, что они не посмели сказать ему правды из опасения, что он, из нравственной брезгливости, отшатнется навек от группы, среди которой мог зародиться и существовать так долго такой ужасный политический разврат, а между тем все они сильно рассчитывали на Лопатина для реорганизации дел после удаления из них Дегаева и К°). Как бы то ни было, Лопатин, не выждав ответа на свое насмешливое письмо, уехал в Питер, где приступил к самостоятельным розыскам наличных революционных сил. Конечно, он быстро наткнулся на Дегаева, а через месяц уже заподозрил его двуличность, что побудило того открыть и ему свою роль и заданную ему в Париже задачу. Он объяснил, почему он должен затянуть дело и видоизменить задачу. Но тут вмешался Лопатин и путем настояний, застращиваний и т. п. заставил его выполнить данные им обещания быстро и точно, под его неусыпным надзором, хотя сам Лопатин не принадлежал в то время к партии Народной Воли ни формально, ни фактически. Непосредственного участия в этом деле он, однако, не принял, объяснив впоследствии кому следует, что он считал неприличным для себя участвовать в одном деле с двойным предателем и выпустить этого предателя живым, а убить его самовольно, т.-е. портить чужие расчеты собственными своевольными изменениями плана, он не считал себя в праве. Вскоре после этого дела в начале 1884 г. он отправился

в Париж, где формально примкнул к партии Народной Воли, и в марте того же года опять вернулся в Питер в качестве члена нового Исполнит. Комитета. Перед ним стала здесь чудовищная для единичной личности задача: „собирать рассыпанную храмину“; отделять „пшеницу от плевел“, т.-е. удалять немалочисленные продукты политического разврата последних годов, вторгнувшиеся в революционную среду — особенно, в студенческие и рабочие кружки—в форме лиц, ведших двойную игру с революцией и с полицией; затем отбирать „чистых от нечистых“, т.-е. многочисленных лиц, оговоренных Дегаевым и оставленных Судейкиным „на развод“, от — увы! — очень немногочисленных лиц, оставшихся неизвестными полиции или защищенных своей нелегальностью; нужно было открывать и присоединять к центру сохранившиеся обломки старых местных организаций, примирять возникшие во время безначалия разногласия и ссоры, изыскивать денежные средства на постановку новых дел, основывать заново или поддерживать только что возникшие опять типографии, спешить выпуском хоть одного № „Народной Воли“, стараться поставить хоть одно полезное и эффектное террористическое дело, как наилучшее агитационное и вербовочное средство для данной минуты и т. д. При этом, при отсутствии чистых и опытных людей, выкошенных долговременным предательством, ему приходилось, конечно, исполнять самолично поочередно, и даже одновременно, все роли от старшего офицера партии до носильщика. Естественный результат такого „разнообразия“ в деятельности не заставил себя долго ждать: 6 октября 1884 г. он был схвачен переодетыми сыщиками на Казанском мосту, и, после ряда перипетий, доставлен в крепость. В июне 1887 г. он судился и был приговорен к смерти [1]), которая потом была заменена ему пожизненным заключением в Шлюшине, где его, как и большинство его сотоварищей, обходили все так-назыв. „милостивые манифесты“, и только русское освободительное движение 1905 г. отворило, наконец, пред ним, 28 октября, двери этого рокового учреждения. Но и тут правительство не пожелало отпустить его совсем „в чистую“, а удержало в руке привязанную к его ноге цепь: в предъявленном ему документе значится: „вследствие временного расстройства этапных

[1]) См. брошюру „Процесс 21-го“. С приложением биограф. заметки о Г. А. Лопатине. Женева 1888.—Биографическая заметка, принадлежавшая Лаврову, перепечатана изд-вом „Колос“. Пегр. 1919. *А. Ш—в.*

путей в Сибирь, куда ссылается на 4 года лишенный всех прав состояния ссыльно-поселенец Лопатин, разрешается ему прожить это время ожидания восстановления путей в городе Вильне, за поручительством его родного брата В. А. Л.“ [1]). — Sapienti sat.

---

[1]) Всеволода Александровича Лопатина, когда-то привлекавшегося по процессу 193, а в это время служившего на жел. дороге. *В. В—в.*

II.

ПОКАЗАНИЯ ЛОПАТИНА.

1. Г. А. Лопатин и Каракозовское дело.
2. Участие Г. А. Лопатина в „Рублевом Обществе“.
3. Пребывание Г. А. Лопатина в Ставрополе.
4. Пребывание Г. А. Лопатина в Сибири и его неудачная попытка освободить Н. Г. Чернышевского.

1.

Г. А. Лопатин и Каракозовское дело.

Впервые Г. А. Лопатин, как он говорит в своей автобиографической записке, был привлечен к следствию в 1865 г. за свое участие в студенческих волнениях, вызванных назначением проф. Ленца на кафедру физики. Волнения эти не вышли за стены университета, и привлечение Лопатина не имело для него никаких серьезных последствий: он продолжал заниматься в университете, давая уроки и зарабатывая мелкими литературными работами.

Вращаясь в кругу университетской молодежи и лиц, близких к ней, Г. А. Лопатин познакомился в 1865 г. с И. А. Худяковым, одним из самых активных участников в Петербурге т.-наз. Ишутинского кружка, из которого вышел Д. В. Каракозов. Познакомился с Худяковым Лопатин, вероятно, через Александра Маркел. Никольского, своего товарища по университету и родственника Худякова. Как говорит сам Лопатин, Худяков пытался привлечь и его к заговору; но на его „теоретические прощупывания“ Лопатин „заявил полнейшее недоверие к тому, чтобы насильственная смерть государя, при отсутствии сильной революционной партии, могла повести к чему-нибудь путному, кроме усиления реакции“ [1]). На этом дело и кончилось. Но, несмотря на то, что Лопатин остался в стороне, всё же он 13 мая 1866 года был арестован и два месяца (с 14 мая по 14 июля 1866 г.) просидел в отдельном каземате Невской куртины Петропавловской крепости.

Как известно, вслед за выстрелом Д. В. Каракозова, 4 апр. 1866 г., председателем высоч. учрежденной в С.-Петербурге Следственной Комиссии был назначен гр. М. Н. Муравьев— „Муравьев-вешатель“, поставивший себе целью раскрыть во всех подробностях огромный, как казалось правящим сферам,

[1]) Воспоминания о Худякове — „Вперед“ 1876, № 47.

заговор на жизнь Александра II. Гр. Муравьев обратил внимание не только на лиц, непосредственно связанных с Каракозовым, но и на те источники „нигилистического направления“, самым ярким и крайним выражением которого, по его мнению, было покушение Каракозова и действия его московских товарищей. Журналистика (главным образом, „Современник“ и „Русское Слово“), литературные работники, участники многочисленных трудовых артелей, филантропических обществ, всевозможных кружков и организаций, полуразрешенных правительством, устроители и участники бесплатных школ—всё было взято на подозрение Муравьевым, стремившимся с корнем уничтожить „революционную гидру“. Вполне естественно, что при таком широком размахе Следственной Комиссии были заарестованы лица или совершенно непричастные к каракозовскому покушению или имевшие только отдаленное знакомство с лицами, замешанными в это дело. В число таких лиц попал и Г. А. Лопатин: знакомство с А. Никольским, арестованным вместе с Худяковым, и участие в бесплатной школе Алекс. Конст. Европеус, обвиняемой в „нигилистической пропаганде“, послужили причиною его ареста. На эти два пункта и обратили особое внимание допрашивавшие Лопатина жандармы. Но Лопатин, хорошо зная, что в их руках не имеется никаких компрометирующих его данных, сравнительно скоро выпутался из этой истории безо всякого для себя ущерба и даже, выпущенный через два месяца на свободу, не был отдан под надзор полиции. Оба его показания, приводимые ниже, по существу своему совершенно не верны, что особенно видно из сопоставления их и с воспоминаниями о И. А. Худякове и с письмом к Н. П. Синельникову. Ловкость Лопатина, нарочитая детальность показаний, осторожность, умение не сказать ни слова лишнего и в то же время кажущаяся искренность и откровенность, вполне убедили жандармов, что Лопатин совершенно не имеет никакого отношения к заговору. А между тем именно Лопатин, по просьбе Худякова, после его ареста, принял на себя ликвидацию оставшихся кружков и связей и до своего ареста был, так сказать, административным центром немногих остатков заговора. По свидетельству П. Л. Лаврова, снимавший показания капит. Никифораки „прямо выразился, что такого милого юношу ничто не собьет с надлежащей жизненной дороги“ [1]). Он оказался прав: ничто, до самого конца жизни не свернуло Лопатина с намеченного

---

[1]) *П. Л. Лавров*, Г. А. Лопатин, Петр. 1919, с. 21.

им для себя пути, только направление этой дороги оказалось совсем не тем, о котором думал жандарм.

В первом своем показании в Следственной Комиссии, от 15 мая 1866 г., Г. А. Лопатин относительно своего знакомства с Никольским показал следующее [1]):

„Окончив курс в Ставропольской гимназии в 1862 г., я в том же году поступил в Имп. С.-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета, где познакомился с Александром Никольским [2]) и многими другими студентами того же факультета, находящимися на четвертом курсе и фамилий которых я здесь не упоминаю, как не имеющих никакого прямого отношения к делу, о котором меня спрашивают. Кроме того, я имел в Петербурге несколько других знакомств, стоящих вне университета, и которыми я обязан большею частью прежним связям моих родителей. Из них, если перечисление их может интересовать Комиссию, я могу упомянуть: Лопатиных (медик Госуд. Имущ.), Орфановых (нач. Отд. Военно-Мед. Деп.), Зининых (проф. Мед. Ак.), Бекетовых (проф. Унив.), Ишимову (воспитательница ее высоч. Александры Иосифовны) и некоторых других. С Александром Никольским познакомился в университете, как уже упомянул выше, но посещал его также и на квартире, хотя и не особенно часто. На прежней квартире его (в Гороховой) встречал не раз его брата Павла, который всегда был со мною очень любезен, но ни в какие более близкие отношения с ним не вступал; даже, если заставал его одного, то после нескольких минут разговора обыкновенно уходил. После возвращения моего из Тифлиса, куда ездил на каникулы в сентябре 1865 г., застал Никольского уже на другой квартире, а именно у

---

[1]) Производство Верховного Уголовного Суда — Высоч. Учрежд. Следств. Комиссии, т. IV, лл. 393—394. (I Отделение I Секции Единого Госуд. Арх. Фонда).

[2]) Александр Маркелович *Никольский* в описываемый период времени очень увлекался идеями кооперации и, в частности, сочинениями Роб. Оуэна, деятельно переводил их и предлагал Г. А. Лопатину заняться той же работой. Привлеченный по Каракозовскому делу, он был „признан не подлежащим обвинению в принадлежности к тайному обществу“ и потому был освобожден от суда; но, „как изобличенный в знании умысла“ освободить Чернышевского и Серно-Соловьевича, был передан в распоряжение министра внутр. дел и выслан в Мезень откуда дважды пытался бежать, но оба раза неудачно. В 1871 г. был переведен на жительство сначала в Саратовскую губ., а потом на родину — в Астрахань; в 1876 г. — освобожден от полицейского надзора.

Фортакова[1]), на Царскосельском проспекте, где он жил вместе с Ведерниковым[2]), с которым я тут же познакомился и даже сошелся ближе по поводу частого размена книг по химии, которой и я и он очень интересовались. Фортакова видал только мельком раза два или три, что будет очень понятно, если припомнить расположение квартиры, которую занимали эти господа. Также видал там г. Яковенко. Ведерникова продолжал посещать и на его квартире, даже после того, как он разъехался с Никольским, тем более, что последние приготовления мои к экзамену требовали книг, которых я, по недостаточности средств, не мог приобретать покупкою, но которых у него всегда было довольно. У Ведерникова встречал я Лебедева[3]), которого, впрочем, большей частью, или не заставал дома, или заставал за работою, так что знаю его, собственно, весьма мало, хотя я кланяюсь при встрече и подаюсь руками (sic!). Более из знакомых Александра Никольского не могу в настоящую минуту припомнить никого, кроме разве его однокурсников-студентов, которые, хотя и раскланивались с ним в университете, но никогда, сколько мне известно, не посещали его на квартире. Приехав с Кавказа в сентябре 1865 г., в начале ноября я заболел и просидел в комнате, с различными небольшими промежутками, вплоть до Пасхи, после чего стал усиленно приготовляться к экзамену, который рассчитывал сдать в мае, так как крайняя недостаточность моих средств (я живу почти исключительно уроками) понуждала меня к скорейшему окончанию курса и приисканию какой-нибудь службы. При чем прекратил за недосугом почти все свои знакомства. Впрочем, у Никольского на новой его квартире в Загибенином переулке был раза два или три, при чем заходил каждый раз после того, как обедал в кух-

---

[1]) Андрей Иванович *Фортаков,* товарищ Никольского по гимназии предложил ему деньги на издание сочинений Р. Оуэна, переводом которых занимался Никольский.

[2]) Иван Васильевич *Ведерников,* вместе с Никольским и Лопатиным, принимал участие в работах в бесплатной школе А. К. Европеус.

[3]) Одна сестра Александра *Лебедева* — Леоканида (Леонилла) вышла замуж за И. А. Худякова, другая — Варвара — за А. М. Никольского. Сам Алекс. Лебедев был привлечен к дознанию в связи с участием в школе А. К. Европеус и был главным лицом, обвинявшим А. К. Европеус в неумении вести дело, в безалаберности преподавания и, особенно, в „нигилистической“ пропаганде. О поведении его и о показаниях его гражданской жены А. Комаровой, ученицы той же школы, очень резко отзывается Г. А. Лопатин в своей статье о Худякове („Вперед“ № 47 — от 15 (3 дек.) 1876, с. 745—750).

мистерской, находящейся наискось от его квартиры в том же переулке. Я знал, что он живет с Худяковым, но сам с ним знаком не был [1]), да и видел его всего два раза: первый раз застал их за чаем, при чем Худяков взял свой стакан и ушел в свою комнату; в другой раз при моем входе они оба сидели на окне, но Худяков, как и прошлый раз, ответив на мой поклон, ушел к себе. Вильямовича и его жену я знал в лицо, как распорядителей кухмистерской, но знаком ни с одним из них не был. Что же касается до личного характера Ал. Никольского, его мнений, планов или действий, то я до сих пор не замечал в них ничего такого, что бы резко отличало его от других знакомых мне молодых людей, или, быть может, при всегдашней сбивчивости его в выражении своих мыслей, я никогда не мог усвоить их себе с совершенною ясностью. Если же он и имел какие-либо преступные мнения или намерения, как это я могу видеть из направления расспросов Комиссии, то, по всей вероятности, не решался сообщать их мне, которого он знал за человека, занятого работою, слишком трудною, чтобы иметь время бездельничать, рассуждая о бесплодных умозрениях и теориях, не входящих ни прямо, ни косвенно в круг моих занятий. Во всяком случае, сколько я помню, я ни разу не слыхал от него ничего подобного и потому был крайне поражен его арестом, равно как арестом Ведерникова и Фортакова, которых я знал за людей далеко не радикальных [2]) убеждений. Но настоящий мой арест меня много успокоил, так как, если эти люди виновны столько же, сколько и я, и если Комиссия в своих суждениях будет руководствоваться, в чем я нисколько не сомневаюсь, только чистою справедливостью и очевидностью, то я льщу себя надеждою, что нам еще придется свидеться на свободе, с честью, восстановленною перед целым светом, и с именем, незапятнанным каким бы то ни было участием в столь возмутительном для каждого русского деле.

Студент Герман Лопатин.

Показание отбирал гвардии. капитан Никифораки".

Второе показание в Следственной Комиссии Г. А. Лопатина исключительно касалось его работы в школе Александры

[1]) Ср. это ложное показание с рассказом самого Лопатина в его статье о И. А. Худякове („Вперед" № 47, от 15 (3) дек. 1876 г.) и в его письме к Н. П. Синельникову.

[2]) Под радикальными я разумел всякие революционные стремления. — *Примечание Г. А. Лопатина.*

Конст. Европéус, в которую ввел его тот же А. М. Никольский. Школа эта была одним из многочисленных благих начинаний шестидесятых годов. Устроительница ее с одной стороны стремилась дать бесплатное образование детям бедных семейств, с другой—подготовить взрослых девушек к экзамену на гувернантку или домашнюю учительницу, чтобы они могли тем самым зарабатывать кусок хлеба. Содержалась школа на частные средства: пожертвования, выручки с концертов и т. п. Школа, однако, давала очень мало знаний; преподаватели были решительно недовольны соединением в один класс различных возрастов, с различною подготовкою, что, конечно, отражалось неблагоприятно на самом преподавании. Затем, благодаря отсутствию строго выработанной программы, преподавание, особенно в старшем классе, совершенно не носило серьезного характера. Некоторые преподаватели, как Лопатин, дававший уроки физики, при первом удобном случае бросали школу; некоторые, как Никольский, пытались воздействовать, но совершенно безуспешно, на А. К. Европеус. Но, конечно, не беспорядочность преподавания заставила обратить внимание Следственной Комиссии на эту школу. В ней искали источников „нигилистического духа", тем более, что на Александра Ивановича Европеус, близкого родственника содержательницы школы, указал в одном из своих показаний Каракозов, как на лицо очень влиятельное в петербургских кружках и как на одного из деятелей конституционной партии. Благодаря этому, школе А. К. Европеус придавали особенное значение, в чем не мало помогал своими показаниями один из учителей школы—А. Лебедев, державшийся на допросах, по выражению Лопатина, настоящим мерзавцем. Сам же Г. А. Лопатин, не считая нужным скрывать беспорядки в школе, в своем показании 17 мая 1866 г. решительно отрицал как существование „проектов воспитания детей так-назыв. нигилистов", так и вообще какую-либо „нигилистическую пропаганду". На предложенный ему вопрос: „какое вообще направление имела школа, и соответствовала ли она своей цели в отношении педагогическом, и какое вы можете сделать о школе г. Европеус заключение?" Г. А. Лопатин дал следующее объяснение [1]):

---

[1]) Производство Выс. Учрежд. Следственной Комиссии. Дело о бесплатной школе, открытой... А. Европеус, № 222, лл. 28—29—Историко-Революц. Архив (I Отд. VII Секции Един. Госуд. Арх. Фонда).

„В начале 1865 года, Александр Никольский предложил мне давать уроки в бесплатной школе Европеус [1]). Относительно цели, устройства, состава и направления школы он мне сообщил, что школа разделяется на два главных отдела: старший и младший. В младшем классе предполагалось давать первоначальные элементарные познания приходящим детям недостаточных родителей, если не ошибаюсь, без различия сословий; в этом классе проходили: закон божий, арифметику, географию, русский язык и чистописание. При открытии же старшего класса, по его словам, имелось в виду дать возможность девушкам, не получившим порядочного образования дома, а между тем, по недостатку средств, принужденным жить своим трудом, получить здесь сведения такого рода, которые позволили бы им выдержать экзамен на гувернанток или домашних учительниц и впоследствии добросовестно исполнять эту обязанность. Так как я до тех пор давал уроки исключительно из предметов математических и так как из таких предметов осталась незанятою одна физика, то я и взял ее на себя, тем более, что один час в неделю, в виду столь доброго дела, не мог составить для меня большого труда. В старшем классе, сколько помнится, я застал двух Лебедевых [2]) (обе выдержали экзамены), Шемякину, Головину и еще какую-то косую девушку, фамилии которой теперь не припомню; но всех их я знал только в лицо, так как из них у меня училась одна только Шемякина. Вообще все ученицы стояли на разной степени познаний, требовали совершенно отдельных курсов, почему в преподавании происходил большой беспорядок и вообще всё дело шло очень вяло, что скоро охладило мое усердие, так что я с большим удовольствием воспользовался поездкой моей на Кавказ (в начале апреля 1865 г.), как удобным предлогом для разорвания всех моих связей со школою, которую, по моем возвращении, не посетил *ни разу*. — Я знаю, что в школе бывали учительские собрания для обсуждения педагогических вопросов, но на них я тоже *ни разу* не был, несмотря на неоднократные приглашения, отговариваясь недосугом, что, впрочем, могут подтвердить как сама г-жа Европеус, так и А. Ни-

---

[1]) Александра Константиновна *Европеус*, вследствие обнаружения в ее школе „нигилистического направления в смысле отвержения начал семейных и брачных", была подчинена строгому полицейскому надзору; кроме того, на будущее время ей воспрещено было открывать какие-либо школы.

[2]) Леониллу и Варвару, вышедших замуж: первая за Худякова вторая—за А. М. Никольского.

кольский, которые также могут засвидетельствовать, что им ни разу не случалось видеть меня в школе, кроме дней, в которые приходился мой урок. Относительно же вредного будто бы направления школы, относительно проектов воспитания детей так-называемых нигилистов и пр., пр., имею честь объяснить, что всё это услышал я в первый раз здесь, в Комиссии.

Студент Герман Лопатин.

Спрошенный еще раз о направлении школы г-жи Европеус, я имею честь присовокупить еще следующие дополнительные объяснения:

В характере г-жи Европеус были весьма многие черты, как-то: отсутствие некоторых общепринятых манер, известные черты костюма и пр., которые в обществе принято в последнее время называть нигилистическими, но я не думаю, чтобы она могла последовательно применять эти взгляды к воспитанию детей, хотя от примеси их к установившимся уже взглядам и мнениям и происходила та путаница и безалаберность в преподавании, о которой я упоминал выше и которая так сердила учителей, что Никольский, например, летом 1865 года совершенно разошелся с ней и, на мои вопросы об этом предмете, отвечал: „это такая баба, с которой не сделаешь ничего порядочного; у ней сегодня одно, завтра другое“ — и когда я спрашивал его, что он разумеет под словом порядочное, он мне начинал объяснять, что она не хочет последовательно держаться строго обдуманной учебной программы, составленной учителями, а вводит разные пансионские замашки, по требованию некоторых *тонных* родителей, и что ее школа не чужда тех надувательств, основанных на наружной полировке воспитанников, которые должны быть совершенно изгнаны из порядочной школы нынешнего времени. К самой Европеус за разъяснением этих недоразумений я не пошел, боясь, что она опять предложит мне учить у нее, что мне уже очень надоело, тем более, что я уже давно убедился, что подобные бессвязные отдельные курсы не приносят ровно никакой пользы. Никольский хотел основать другую школу на началах более систематических, и приглашал меня к участию в ней, от чего я не отказывался; но это предприятие пало само собою, частию по недостатку средств и учителей, частию потому, что Никольский, занятый в последнее время деятельно переводом Овена, совершенно позабыл и думать о каких-нибудь школах. Шемякину, как мне рассказывали, рекомендовал попечению

г-жи Европеус г. Энгельгардт, который желал вывесть ее из-под влияния не совсем нравственной семьи (одна из ее сестер, судя по рассказам, просто публичная женщина). Что же касается до отношений Шемякиной к Орфанову, то я не упоминал о них выше только потому, что не подозревал, что Комиссию может интересовать любовная история, не окончившаяся притом ничем серьезным: Орфанов познакомился с Шемякиной на Ижоре, на даче, и после ходил всюду за ней, как тень, поджидая ее на улицах и перекрестках, пока это ему не надоело. Я знаю это потому, что очень хорош с семейством Орфанова; но не знаю — известно ли это было г-же Европеус, хотя для всех знакомых Орфанова и Шемякиной вся эта комедия отнюдь не была тайной.

Студент Герман Лопатин.

Показание снимал капитан Панютин".

2.

Участие Г. А. Лопатина в „Рублевом Обществе".

Г. А. Лопатин в продолжение всей своей жизни всегда оставался человеком практики и никогда не увлекался чисто теоретическими, отвлеченными рассуждениями. Вращаясь в кругах прогрессивной молодежи 60-х г.г. и столкнувшись с представителями крайнего революционного движения, Лопатин не мог не обратить внимания на чисто книжное происхождение многих теорий, влиявших на нашу молодежь, на отвлеченность ее рассуждений и на малое знакомство с русской жизнью. Вопросы о народе, о благе трудящихся масс, о работе среди них, о необходимости уплатить долг народу оживленно дебатировались в то время, как и впоследствии, в различных кружках и группах. Но, как и впоследствии, молодые энтузиасты слишком мало знали тот народ, который занимал главное место в их планах переустройства русской жизни. В одном из своих писем Г. А. Лопатин прямо указывал, что „ничтожное знакомство прогрессивной молодежи с действительным положением и нуждами народа составляет самое слабое место среди теоретических взглядов и практических предприятий нашего времени". Вывод навязывался сам собою: необходимо организовать

такой аппарат, такую группу людей, которые, не довольствуясь книжным представлением о народе, могли бы изучить его жизнь на практике, войдя с ним в непосредственные сношения.

Ликвидация Худяковского дела, которая была поручена Лопатину, могла указать ему средства, с помощью которых можно было бы осуществить носившийся у него в мыслях план. „Компания, душою которой был Худяков, пише- Лопатин в своих воспоминаниях о нем, постоянно обучала грамоте разных отставных солдат, мастеровых и т. п. люд. Понятно, что эти занятия грамотою, происходившие на частных квартирах, не ограничивались этою скромною целью, но переходили в беседы гораздо более поучительного свойства“. Лопатину и его товарищам, среди которых был самым близким Феликс Вадимович *Волховский,* вполне естественно представлялась наиболее соответствующей намеченной цели деятельность сельских учителей, которые, живя в деревне, могли лучше чем кто-либо познакомиться с жизнью и нуждами крестьянства. „Деятельность сельских учителей, по выражению Лопатина, приводя нас в непосредственное соприкосновение с массами, позволяла нам рассмотреть поближе этого загадочного сфинкса, называемого „народом“. Мы рассчитывали получить таким образом возможность ознакомиться основательно с экономическим положением народа, его нуждами и потребностями, с его взглядами на вещи и его умственным развитием, со степенью его восприимчивости к известным идеям, а также со степенью основательности тех надежд, которые возлагаются на него пылкими приверженцами быстрого прогресса. Такое солидное знакомство с народом позволило бы нам составить себе ясное понятие об истинном положении вещей внутри нащего отечества и сознательно избрать себе на будущее время тот путь, следуя которому мы могли рассчитывать принести наиболее пользы вскормившему и воспитавшему нас отечеству“. Но открытие постоянных сельских школ требовало много хлопот: согласия сельского схода, отвода особого помещения и т. п., что только замедлило бы дело. Поэтому Лопатин и Волховский пришли к мысли составить общество странствующих учителей, которые, переходя с одного места в другое, могли бы обучать крестьянских детей, не заводя особых школ. Помимо занятий с детьми, кочующие сельские учителя, по мысли Лопатина и Волховского, должны были беседовать с взрослыми на исторические и политические темы, читать им легальные книжки, составлять подворные статистические

описания сел по выработанной Волховским программе — словом, вести всяческую *легальную* работу, направленную к выяснению разных сторон крестьянской жизни. Единственным нелегальным пунктом в программе деятельности сельских учителей, по указанию Лопатина, „было собирание фактов и наблюдений по вопросу о том, насколько наш народ доступен антиправительственной, революционной пропаганде".

На обязанности других членов общества лежало составление, издание и распространение книг для народа, в чем тогда чувствовалась огромная нужда. И в этом следует видеть влияние на Лопатина Худякова, автора прекрасных популярных книжек („Рассказы о старинных людях", „Самоучитель", „Рассказы о великих людях" и др.); тем более, что единственное издание Лопатина и Волховского, по указанию последнего [1]), была очень удачно составленная тем же Худяковым популярная книжка по истории русского народа, под заглавием „Древняя Русь". Средства, вырученные от продажи изданий, а также ежемесячные взносы в размере одного рубля (откуда и самое название „Рублевое Общество") лиц, сочувствовавших „Обществу", должны были идти на пополнение жалованья кочующим сельским учителям, которым, конечно, не могло хватать собственного незначительного заработка.

Плану Лопатина и Волховского нельзя отказать в стройности, целесообразности, а главным образом, в *своевременности*. Организация „Рублевого Общества" относится к концу 1867—нач. 1868 г.г., а в 1871 г. уже образовался известный в летописи революционного движения так-наз. „кружок чайковцев", поставивший себе целью как издание и распространение народных и других книг, так и пропаганду среди городского и сельского населения. „Хождение же в народ", особенно развившееся к 1873 г., ставило, в сущности, ту же задачу сближения с народом, о котором мечтали Лопатин с Волховским.

И нет сомнения, что если бы план их осуществился, хотя бы даже не в таком широком масштабе, если бы им удалось собрать хоть часть необходимых сведений, движение в народ приняло бы, может-быть, и иные формы, и была бы возможность избежать многих ошибок, которые были наделаны впоследствии. Однако, нельзя не отметить так-

---

[1]) *Ф. Волховский,* Друзья среди врагов. Книг-во „Нар. Воля" № 19, Спб. 1906, с. 4.

же, что и Лопатин и Волховский, замышляя о развитии „Рублевого Общества“, совсем не приняли во внимание того, как отнесется к их проектам правящая власть, лишь только узнает о кочующих сельских учителях, об чем-то разговаривающих с крестьянами и собирающих какие-то сведения по деревням. Впрочем, Лопатин был искренне убежден, что в его плане не было решительно ничего вредного, так как имелось в виду изучение масс, но не агитация; ему и в голову не приходило, что правительство с ожесточением будет ставить препятствия чисто *легальной* (что не раз подчеркивал Лопатин) культурно-просветительной работе, цель которой заключалась единственно в поднятии культурного уровня крестьянства. И сам Лопатин и лица, привлеченные впоследствии по процессам 50-ти и 193-х, дорого заплатили за эти розовые мечты своей юности.

Важные начинания „Рублевого Общества“ и полная неизвестность его в истории революционного движения заставляют подробнее остановиться на нем, тем более, что дело об основателях „Рублевого Общества“ не было доведено до суда, и показания Лопатина и Волховского исчерпывающим образом освещают их цели и намерения.

В начале января 1868 г. было перехвачено следующее письмо Г. А. Лопатина к Ф. В. Волховскому, обратившее на себя внимание „темным смыслом и многими условными выражениями“:

„Письмо твое, Феликс, — писал Лопатин, — в котором я никак не мог добраться до смысла (а именно, я не мог уразуметь связи между княжною Макуловою и княжною Долгорукою [1]) и за которое я заплатил, однако, целый рубль,—получил я третьего дня вечером и сейчас же отправил (по городской почте) приложенное к нему послание по адресу. Отвечу на те пункты твоего письма, смысл которых мне более или менее понятен.

---

[1]) Княжны Екатерина Александровна *Макулова* и Наталья Влад. *Долгорукая*, „давно известные III отделению нигилистки“, к „Рублевому Обществу“ отношений не имели. Кн. Долгорукая содержала типографское заведение, относительно которого хлопотал Волховский, повидимому, желая купить его или, по крайней мере, использовать для нужд „Рублевого Общества“. В одном из писем к Волховскому Лопатин писал, что кн. Макулова выведена писателем Лесковым в его романе „Некуда“ под именем Бертольди; по сведениям III отделения, она же жила в нашумевшей в 1860-х г.г. „коммуне“ писателя Слепцова.

Первый приемный комитет будет 15 числа. Я потолковал с делопроизводителем и почти уверен, что мы с тобой пройдем в полной сумме. Взаимный кредит роздал за этот год 26%!! Впрочем, в нынешний год прибыль едва ли будет так велика, так как поступает туда непомерное количество новых членов.

Предложение твое насчет „дутых" векселей показывает малое знакомство твое с делом: для обсуждения и приема векселей существует особый учетный комитет, который никогда не допустит к учету заведомо некоммерческий вексель. Б. слишком хорошо известен всяким банковским комитетам, равно как и его средства. Достать 400 р.—более никак не могу. Дело, которое ты излагаешь с таким волнением, я отказываюсь даже понять [1]).

Относительно прежних твоих поручений могу доложить:

1. Фараоново воинство [2]) пять раз не застал дома.
2. В цензуре *не* был [3]).
3. У Калиниченков [4]) idem.
4. Библиографии, биографии и портрета *пока* еще *не* разработал [5]).

---

[1]) Речь идет о деньгах, которые Лопатин должен был достать для Волховского из Общества взаимного кредита, в котором в то время служил он сам. Кроме того, по указанию Лопатина, цель поступления Волховского в члены этого Общества состояла в том, чтобы открыть текущий счет для взносов членов „Рублевого Общества".

[2]) Шуточное прозвание, данное Лопатиным одной знакомой стенографистке.

[3]) Программа для собирания и группировки сведений: 1) по обычному праву населения южного края, 2) статистических и 3) этнографических, составленная Ф. Волховским по образцу таковых же программ, выработанных Географическим Обществом; они были представлены им в московский цензурный комитет, откуда были препровождены в главное управление по делам печати, но к печати разрешены не были. Программы предназначались для кочующих сельских учителей при собирании ими намеченных сведений.

[4]) Через посредство Николая Иван. Калиниченко, студента Петерб. ун-та, Волховский хотел приобрести у некоего Каменецкого малороссийские книги, и с этой целью вел с ним переговоры.

[5]) Речь идет о библиографии, биографии и портрете Н. Г. Чернышевского. Из показаний не ясно, с какою целью интересовались материалами о Чернышевском Лопатин и Волховский. Последний писал в одном показании, что он хотел познакомиться со всеми произведениями Чернышевского, так как в программе для студентов Московского ун-та были рекомендованы его „Очерки гоголевского периода"; в других—он говорил, что хотел сам написать критическую статью о некоторых произведениях Чернышевского. Очень может быть, что ли сочинения Чернышевского или их указатель должен был войти в число предполагаемых изданий „Рублевого Общества".

5. Рублевое Общество подвигается вперед.

6. Относительно Казани [1]) пока *ничего.*

Adieu, будь здоров! Отвечай поскорее; но посылай свои письма по почте, так как рубль будет для них цена немного дорогая. Особенно пиши о „Рублевом Обществе“.

Для выяснения подробностей письма III Отделение направило к Лопатину своего агента. Как видно из дальнейшего, Лопатин сразу узнал, с кем ему пришлось иметь дело, но не показал и виду. Агент же с торжеством донес своему начальству, что ему удалось возбудить доверие к себе Лопатина настолько, что Лопатин поручил ему переслать письмо Волховскому и целую партию книг. Во втором письме Лопатин сообщал Волховскому, что получил полное собрание сочинений Чернышевского (и даже его неизданные вещи), что программа Волховского задержана цензурой, что „Рублевое Общество“ идет помаленьку, так как ему некогда было взяться за него с должною энергией и что программа („Вопрос молодого поколения“) им еще не составлена.

Рассмотрев это письмо, III Отделение пришло к заключению, что им раскрыта новая важная революционная организация, „тождественная“ прежней под названием „Молодая Россия“ (вероятно, на это навела программа „Вопрос молодого поколения“), настолько серьезная, что тотчас распорядилось об аресте и строжайших обысках у Волховского— в Москве, у Лопатина—в Петербурге и у всех лиц, упомянутых в письмах.

В ночь на 10 февраля 1868 г. у Лопатина был произведен обыск, который, однако, не дал никаких результатов. Узнав в таинственном посланце от Волховского неловкого агента III Отделения, Лопатин приготовился к обыску, и доклад с сожалением должен был констатировать факт, что „Лопатин, по всей вероятности, человек очень осторожный, ибо при явной фактически и неопровержимо доказанной его неблагонадежности, у него ничего не оказалось, кроме старого транспаранта, на котором следующий загадочный адрес: Geneve, Suisse; Auguste de Montagnac, Chemin des Savoires, — от постороннего“. Кроме подозрительного транспаранта у него были взяты: белый порошок, оказавшийся простым гуммиарабиком, карта Итальянского коро-

---

[1]) Лопатин подразумевает новые правила для приема студентов Казанского ун-та, которые хотел выписать для Волховского в Публичной библиотеке.

левства, немецкая брошюра д-ра Уле, „Избранные краткие письма по естественной истории“ и рукопись ее перевода. Тем не менее Лопатин был арестован, доставлен в III Отделение и 12 февраля 1868 г. давал свои первые показания.

Не сговорившись с Волховским заранее и не зная, насколько полно он желает давать показания относительно „Рублевого Общества“, Г. А. Лопатин предпочел сначала не открывать всей правды, особенно относительно тех вопросов, которые касались как его самого, так и Волховского:

„1. Под *программою*, — пишет он 12 февраля, — я разумел программу для собирания этно-статистических сведений о России, представленную Ф. Волховским в московскую цензуру, которая ее не разрешила. Я хлопотал о разрешении в главн. управлении по делам печати в С.-Петербурге, но и здесь последовал отказ, почему я и не заблагорассудил, как обещал сначала, составить программу для собирания сведений в великорусских губерниях, по образцу программы, составленной Волховским для губерний малорусских. Назвал я ее вкратце „Вопрос молодого поколения“ потому, что она должна сопровождаться предисловием, в котором должна была быть развита та мысль, что пора нашему молодому поколению заняться серьезным изучением особенностей родного быта и бросить бесплодные споры касательно мечтательных теорий, вычитанных из иностранных книжек [1]).

2. Под „Рублевым Обществом“ разумел я изложенный мною в предыдущем письме проект сборов в университетах на голодающих; причем сборы долженствовали иметь форму правильных периодических взносов (ежемесячных); сумма долженствовала быть или одинаковою для всех (minimum рубль — для отвращения дробных счетов), или должна была представлять известный % с проживаемого рубля. О существующих уже или имеющихся уже в виду взносах я говорил не потому, что они действительно уже были налицо, но потому, что я был и сам уверен, что никогда не встретил бы отказа в пожертвовании на такое дело, если бы мои занятия позволили мне улучить время—

---

[1]) Г. А. Лопатин сознательно смешал две вещи: действительно под „программою“ надо разуметь программу для собирания этнографических и статистических сведений, представленную Волховским в цензуру; но под „Вопросом молодого поколения“ должно подразумевать не соответствующую программу для великорусских губерний, а обращение к молодежи принять участие в „Рублевом Обществе“ в качестве сельских учителей с указанием, что накопление и разработка научных вопросов и материалов—прямая задача молодого поколения.

заняться хорошенько этим делом. Говорил же так, чтобы ободрить Ф. Волховского, который сомневался в успехе, и заставить его начать [1])!“

Данное Лопатиным показание [2]) вызвало естественное недоверие III Отделения, которое еще усилилось, когда были получены из Москвы первые показания Волховского. Давая по многим вопросам сходные с Лопатиным объяснения, Волховский особенно разошелся с ним относительно центрального пункта допроса — цели и назначения „Рублевого Общества“.

Говоря об остроумных кличках, всему даваемых Лопатиным, Волховский 4 февраля писал, что „Рублевым Обществом“ Лопатин назвал задуманное ими „коммерческое предприятие издательского свойства“; в такое общество должны войти несколько лиц и составить нечто в роде издательского товарищества; какой-либо прочной организации оно не составляло, так как предполагалось издать определенную детскую естественно-научную книжку и народный лечебник.

На дальнейших допросах уже в Следственной Комиссии и Лопатин и Волховский по-прежнему каждый стоял на своем: один писал, что ему ничего не известно о какой-либо издательской компании; другой—говорил, что первый раз слышит о сборах на голодающих. Такие разногласия показывали допрашивающим, что тот и другой скрывают настоящие цели „Рублевого Общества“, и, не предъявляя им обвинения, поджидали, чтобы они сами дали достаточно материала для обвинения. Очной ставки им тоже не давали, так как Комиссия, с самого начала убедившись „в упорном запирательстве и дерзком нахальстве Лопатина“, боялась, что Лопатин сумеет сговориться с Волховским, и тогда оба они согласно будут настаивать на каких-либо неправдоподобных объяснениях. Дело, таким образом, затягивалось „впредь до выяснения“.

Только найденный 8 апреля, при вторичном обыске в квартире Волховского, дневник и некоторые записки заставили его дать новые показания: в них уже проскальзывают сведения о народных учителях, об обязанности молодежи направить свои силы на изучение родного края и на народ-

---

[1]) Это показание от начала до конца является выдумкой Г. А. Лопатина.

[2]) Дело III Отделения собств. его имп. велич. канцелярии 3 экспед. № 172 (1868 г.), ч. I.—Историко-Революц. Архив (I Отд. VII Секции Ед Госуд. Арх. Фонда).

ное образование, и о том, что важнейшим вопросом является изучение России в экономическом и статистическом отношениях, так как, благодаря реформам, жизненные условия, особенно крестьянства, сильно изменились.

Положение выяснилось настолько, что Волховскому не оставалось ничего, кроме „чистосердечного признания", что он и сделал 24 апреля 1868 г., когда рассказал более подробно о своих украинских симпатиях, о кочующих сельских учителях, их просветительной деятельности, назвал лиц, внесших деньги, причем указал, что Лопатин заинтересовался в этом деле не столько педагогической стороной, сколько научной, т.-е. собиранием статистических, экономических и т. п. сведений, как материала для науки.

Написав свое „признание", Волховский, как он рассказывает в своих воспоминаниях[1]), при помощи доброжелательного часового-жандарма, сумел переслать черновик своего последнего показания Лопатину. Последний на новом допросе, 26 апреля, не находя нужным скрывать что-либо и зная, чего надо держаться, подтвердил всё сказанное Волховским и развил во всех подробностях настоящие планы и цели „Рублевого Общества".

„Я[2]) соглашаюсь с Волховским в том, что под словами „Рублевое Общество" надо разуметь не „Общество для сборов в пользу голодающих", как я показывал это сначала, а другое, проектированное нами (мною и Волховским) общество, которое хотя и не получило еще до сих пор определенной организации и развития, а также и названия, но которое, по основной его цели и стремлениям, весьма удобно могло бы быть названо „Обществом для распространения просвещения в народе".—Мотивами, вызвавшими, с нашей стороны, проект составления подобного общества, послужили следующие соображения:

1) Первоначальное образование народа находится в руках лиц, в высшей степени невежественных и не подготовленных к такому делу, каковы: церковный причт, волостные писаря, отставные солдаты, выгнанные из службы за воровство и пьянство чиновники, старые девки и вдовы, летом скитающиеся по монастырям и богомольям, а зимой читающие по покойникам и обучающие деревенское юнощество.

---

[1]) *Ф. Волховский,* Друзья среди врагов. Изд-во „Народн. Воля", № 19, Спб. 1906, с. 4—10.

[2]) Производство выс. учрежд. в С.-Петербурге Следственной Комиссии, № 420 (1868 г.).—Историко-Революц. Архив (I Отдел. VII Секции Ед. Госуд. Арх. Фонда).

2) Вследствие такого подбора педагогов, обучение производится по допотопным методам, искажающим и насилующим умственные способности детей, требующим для получения успеха слишком продолжительного по времени курса, делающим учение для детей трудным, изнурительным и внушающим непреодолимое отвращение; самые результаты учения по таким методам весьма часто бывают очень печальны: они состоят иногда в достижении искусства читать только те книги, по которым ученик учился. 3) Такая бесплодность результатов, по сравнению с затраченными издержками, временем и здоровьем, — поддерживает, и без того весьма распространенное в народе, предубеждение против грамотности и просвещения. 4) Всякого рода учебники и пособия, изданные до сих пор для сельских школ, представляют самое прискорбное зрелище: это суть или произведения самого жалкого тупоумия и невежества, или плоды самой бесстыдной и наглой спекуляции; они не содержат в себе ничего, что было бы сколько-нибудь полезно или хотя отчасти применимо к жизни тех, для кого они предназначены. Сверх того, они написаны самым варварским и неудобопонятным языком. 5) Серьезного улучшения в системе народного образования никак нельзя ожидать при усилиях со стороны одного только правительства: правительство покупает услуги частных лиц за деньги; а до тех пор, пока лица, служащие правительству, будут служить ему только за деньги, как мы это видим почти повсюду, до тех пор на места сельских учителей будет поступать только отброс, никуда более не годный, так как люди со способностями и знаниями всегда будут пробиваться на места более выгодные и более видные. Правительство же не в состоянии назначить сельским учителям жалованья, достаточного для того, чтобы привлечь к себе внимание людей с высоким умственным развитием. Поэтому сделать почин в таком деле (т.-е. в деле улучшения системы народного образования) и принести здесь истинную пользу могут только частные лица, добровольно, по внутреннему влечению, посвятившие себя этому труду, служащие отвлеченной идее, руководимые чувством гражданского долга, делающие дела из теплой любви к самому делу, а не из-за денег или из-за почестей, или из-за каких-либо других материальных выгод.—Приняв во внимание всё, изложенное здесь, я и Волховский полагали в высшей степени полезным: А) Составить и издать следующие книги: 1) буквари и вообще рациональные руководства для обучения грамоте, 2) учебники по предметам, наиболее важным в народной

жизни: по арифметике и счетоводству, по сельскому хозяйству, по домашней гигиене и медицине, по ветеринарному искусству, по сельской технологии, по практической геометрии и межеванью и пр., и пр., 3) книги, служащие для ознакомления человека с внешним миром, с явлениями окружающей его природы, т.-е. так-называемая физика земного шара и физическая география, а также основные понятия по астрономии, физике, метеорологии, химии и описательным естественным наукам, с их применениями к обыденной жизни, 4) основные понятия по географии и истории России и соседних стран, 5) книги, имеющие целью ознакомить народ с положительным законодательством его отечества, которое ему почти совершенно неизвестно, частью вследствие дороговизны собраний законов, частью вследствие непонятности для него языка, которым законы писаны. Такие издания научили бы народ знать свои права и обязанности; в них нашло бы также место изложение духа, оснований и важнейших подробностей так-наз. последних реформ, наконец, 6) собрания лучших отрывков из известных писателей, для развития в народе литературного вкуса, так как издания, служащие ныне для развлечения народа, отличаются, как известно, скорее дешевизною, чем какими-либо эстетическими достоинствами. B) Найти, уговорить или подготовить людей, которые бы взяли на себя: 1) составление таких книг, 2) личное преподавание по селам и деревням. C) Собрать денежные средства, необходимые: 1) для издания и распространения вышеозначенных сочинений и 2) для поддержания учителей в продолжение их педагогической деятельности.

Книги долженствовали быть написаны самым понятным языком, изданы в большом количестве и распространены как можно более, продаваясь по возможно дешевой цене, а в случае крайности, раздаваясь даже даром. Учителя долженствовали или примкнуть к имеющимся уже народным школам, или же действовать самостоятельно, начав преподавание исподволь и не называя собрания своих учеников громким именем „школы“, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны, так как закрытие одной из деревенских школ Полтавской губернии (описанное в газетах), С.-Петербургской школы сельских учительниц и другие подобные истории показывают, что администрация не особенно благосклонно относится к действиям частных лиц в этой сфере. Материальное содержание свое учителя должны были получать: частью из платы, взимаемой с учеников, частью от литератур-

ных работ, материалом для которых могли служить обильные и в высшей степени полезные наблюдения над окружающей их жизнью; в случае же недостаточности этих источников, необходимую для них поддержку должно было доставить им Общество, конечно, в самых умеренных размерах. Средства свои Общество предполагало получать: частью из ежемесячных взносов своих действительных членов (по 1 рублю в месяц), частью от всякого рода пожертвований: деньгами, книгами, вещами и пр. со стороны знакомых лиц, частью от продажи своих будущих изданий; наконец, можно было бы устроить, под более или менее приличными предлогами, несколько концертов или литературных вечеров.

На вопрос, почему я с Волховским не желали действовать, относительно нашего проекта, путем официальным, — я замечу следующее: во-первых, Общество, как таковое, во время нашего ареста, еще не существовало; самый устав (или программа действий, как мы его называли между собой) не был еще выработан, что очень хорошо известно Комиссии; во-вторых, ни я, ни Волховский не принадлежим к числу людей, мнение которых особенно занимало бы министерство народного просвещения, и, наконец, в-третьих, ни я, ни Волховский не желали обращаться в официальные сферы с проектом, который, подобно многим другим фантастическим проектам, не имел за себя ничего, кроме нашего личного убеждения в его осуществимости. Дело другое, когда бы мы туда обратились после нескольких лет труда, когда бы мы могли указать на практические результаты, добытые нами, и на те выводы, которые сделаны нами из нашей деятельности, относительно того пути, по которому должно было пойти дальнейшее развитие нашего проекта. Тогда было бы можно рассчитывать и на официальное разрешение, и на поддержку нашего плана. А такая официальная обстановка дела необходима для придания делу нужной широты и гласности, без которых предприятия такого рода просто немыслимы. Я и Волховский понимали всё это очень хорошо, но откладывали дело до более удобного времени.

Теперь я постараюсь объяснить, почему я, в предыдущих своих показаниях, несколько уклонялся от истины. Я делал это вследствие того, что, во-первых, я считал своим долгом предоставить Волховскому полную свободу в показаниях, так как я чувствую себя безусловно виновным перед ним в нашем аресте: непосредственною причиною этого ареста, по моему убеждению, послужило мое последнее письмо к Волховскому, посланное мною из глупой шутки с человеком,

относительно истинных качеств которого я почти нисколько не сомневался [1]); конечно, я не воображал, чтобы собственно письму было придано когда-нибудь какое-либо значение; я забавлялся только мыслью о разочаровании моего „нового друга“, после разобрания им стенографической записки; но, во всяком случае, мне следовало предупредить Волховского в том, что мне вздумалось шутить, чтобы он все-таки принял, на всякий случай, какие-нибудь меры предосторожности; — я этого не сделал, и в настоящее время считал себя обязанным, по крайней мере, предоставить ему те выгоды, которые заключаются в полной свободе показаний. Во-вторых, я думал, что инициатива в показаниях, по праву, принадлежит Волховскому уже потому, что все бумаги, служащие путеводною нитью Комиссии, принадлежат ему, а не мне, а потому — только он один может верно определить ту ширину, тот объем и ту степень обстоятельности, которые должны представлять наши показания; я же, по самому положению своему, обязан петь второй голос. Я знаю, что *по закону* я обязан отвечать в Комиссии *всё* и обо всем, но я знаю также, что сама Комиссия внутренно совершенно убеждена в том, что нет такого человека, которому доставляло бы удовольствие, без крайней необходимости, разоблачать свой внутренний мир перед людьми, совершенно чуждыми ему, как по их общественному положению, так, вероятно, и по их образу мыслей. Вынужденный говорить, он все-таки будет говорить только то, что необходимо, не сказать чего решительно невозможно, и для него всегда будет в высшей степени важно — определить для себя границы этой *необходимой* откровенности. Мы живем не в Америке и не в Англии, где подсудимый имеет право отказаться отвечать на вопросы, кажущиеся ему щекотливыми, и предоставить судить себя на основании совокупности свидетельских показаний и писанных документов; у нас Следственная Комиссия располагает целым арсеналом средств заставить человека говорить, — поэтому нечего удивляться, если у нас арестант для того, чтобы спасти от профанации хотя часть своей интимной жизни, принужден прибегать к сдержанности, уклончивости, уловкам, отступлениям от истины и другим неблаговидным средствам, роняющим достоинство и уважение к себе в порядочном человеке; такие отступления от правил повседневной морали могут быть оправданы только исключительным положением, подобно тем отступлениям, которые допускаются

[1]) Агент III Отделения.

в стране, находящейся на военном положении, от законов, действующих там в мирное время. Быть может, высказываемое здесь мнение покажется несколько странным, но не потому, чтобы оно не было известно Комиссии давным-давно или чтобы она находила его неестественным; не потому, чтобы каждый арестант не соглашался с этим взглядом или не следовал ему, молча, во всех решительно случаях, но только потому, что не каждый находит нужным высказывать его в такой ясной и положительной форме.

Мне возражали в Комиссии, что мой образ действий приносит Волховскому более вреда, чем пользы. потому что: 1) Он затягивает дело, подрывая противоречивыми показаниями кредит показаний Волховского; но что касается до этого, то я убежден в том, что мои показания были таковы, что Комиссия ни минуты не могла колебаться между ними и показаниями Волховского. 2) Согласившись с показаниями Волховского только после того, как я получил о них уже некоторое понятие, я подаю повод думать, что, может-быть, Волховский и теперь лжет, а я соглашаюсь с ним только по дружбе. — Но, во-первых, я осмелюсь уверить Комиссию, что, если бы Волховский лгал, я никогда не рискнул бы изменить свои показания прежде, чем услышал бы его показания от него *лично*; во-вторых, мне не позволили прочесть показаний Волховского и не сообщали их словесно, но в самой постановке вопросов мне в Комиссии для меня заключались намеки на то, что ей уже известна истина, а потому я и изменил свои показания; мне очень хорошо известно, что Комиссия может узнать правду только от меня или от Волховского и ни откуда больше; следовательно, если она знает истину, то ей сообщил ее Волховский, следовательно, и я могу делать то же. 3) Положим, что Волховский сказал правду; но моя выжидательная метода показывает, что я думал, что он мог и не говорить правды, а следовательно, дело стоило того, чтобы лгать, т.-е. что оно, по моему же мнению, имело какой-то политический или вообще преступный оттенок. — Но, во-первых, Комиссия, захватив Волховского со всеми его потрохами, имеет полную возможность не сомневаться касательно истинного оттенка дела: из имеющихся у ней в руках бумаг она может видеть не только мысли его по этому делу, но и вообще последовательное развитие во времени всех его мыслей и чувств; во-вторых, я совершенно не согласен с тем, будто бы человек может находить щекотливыми только те объяснения, которые касаются преступных замыслов или любовных интриг; сте-

пень щекотливости зависит от степени нравственного развития: человек с тонким развитием чувства имеет множество так-называемых задушевных убеждений, планов, идей..., о которых он не станет, без нужды, разговаривать в кругу людей, от которых он не может ожидать большого сочувствия к себе и к своим взглядам. И мне и Волховскому столько раз приходилось слышать название „непрошенных благодетелей народа“ и другие столь же остроумные и не менее ядовитые прозвища, что я полагаю, что у меня и у Волховского давно уже исчезло мальчишеское расположение к безусловной откровенности решительно со всеми. — А потому я нисколько не удивился бы, если бы Волховский постарался отклониться от необходимости углубиться в подробное изъяснение своих сокровеннейших чувств и мыслей, насколько такое отклонение было бы допущено взятыми у него документами. Но коль скоро, раз Волховский, вследствие искренности своего характера (или, может-быть, вследствие найденных у него бумаг), решился говорить одну истину, то и я не вижу более причины настаивать долее на своих показаниях, которые только и годились на то, чтобы, опираясь на них, выжидать очной ставки с Волховским. — Хотя такое объяснение моего предыдущего поведения покажется, быть-может, Комиссии не вполне удовлетворительным с точки зрения положительного закона, но я не думаю, чтобы хотя оцин из ее членов усумнился *на этот раз* в его истинности.

II. Под „Программою“ (Вопрос молодого поколения) мы разумели программу будущих действий вышеописанного Общества или его устав. Эту программу намерен был составить я. В ней я должен был изложить мотивы, вызвавшие составление Общества, цели, которые оно намеревалось преследовать, и те средства, при помощи которых оно полагало возможным осуществить эти цели; одним словом, всё то, о чем я уже говорил выше; только всё это долженствовало быть изложенным более литературным образом, бойко и горячо. — Программа эта должна была служить для ознакомления будущих членов Общества с их обязанностями, для избежания скучного повторения, — на словах, — постоянно одного и того же. Если бы Общество достаточно разрослось, ее предполагалось отлитографировать, а если бы Общество получило, — со временем, — официальное утверждение, то ее можно было бы тогда напечатать и распространить более широким образом. Называли мы эту программу, в нашей переписке, для краткости и для отличия от этно-статистических программ, „Вопросом молодого поко-

ления", потому что мы полагали, что наши планы могут встретить деятельное сочувствие исключительно в кругу молодежи, которая всегда более расположена к экзальтации, к самопожертвованию, к служению отвлеченной идее в прямой ущерб своим личным интересам, — чем зрелый возраст. В предыдущих своих показаниях я отступил несколько от истины при объяснении смысла этой программы. Я сделал это потому, что, уклоняясь до поры до времени от правильного истолкования „Рублевого Общества", я, по весьма понятным причинам, не находил нужным упоминать и об его уставе. Связывал же я эту программу с этно-статистическими программами оттого, что они действительно имеют между собой очень много общего. По напечатании этих последних программ, их предполагалось раздать сельским учителям и другим лицам, находящимся в подобном же положении (например, сельскому духовенству), для того, чтобы они, в досужное время, собирали означенные там сведения, из которых впоследствии мог бы составиться весьма ценный материал для всестороннего познания России. Запрещение, наложенное на эти программы главным управлением по делам печати, совершенно затормозило эту часть нашего плана. — Программа (Вопрос молодого поколения) мною ещё не была составлена, что видно из моего письма; не сделал же я этого за недосугом.

III. Что касается до личного состава Общества и до его денежных средств, то ни то, ни другое, до нашего ареста, не получило еще никакого развития, по крайней мере, в Петербурге. — С лицами, годными для вербовки в сельские учителя, я еще не разговаривал об этом предмете за недосугом, как это видно и из моих писем к Волховскому. Что же относится до денег, то их тоже еще совсем не было, хотя я и писал ему, что собрал уже несколько для того, чтобы ободрить его для трудов на этом поприще. Были ли привлечены в это Общество какие-нибудь лица и были ли собраны какие-нибудь деньги в Москве, я не знаю: Волховский мне не писал еще об этом. Названные мне в Комиссии фамилии Клименки, Шугурова и Лавриновича [1]) мне хотя известны, но с этими лицами я не знаком лично; как о членах же нашего Общества, — слышу о них впервые.

---

[1]) Доктор Иван Степ. *Клименко,* Николай Васильевич *Шугуров,* Иван Ив. *Лавринович,* равно как Сем. Григ. *Гирчич,* Пав. Вас. *Прокопенко,* Мих. Иван. *Максимович,* Петр Афан. *Быков,* Кондр. Яковл. *Белый* — были лица, привлеченные Волховским к участию в „Рублевом Обществе" и внесшие деньги.

IV. В заключение, считаю необходимым особенно настаивать на том обстоятельстве, что, хотя я и употребляю повсюду для удобства слово „Общество“, но это есть чисто произвольное злоупотребление словом; было бы гораздо правильнее говорить, вместо этого,—„наши фантазии“, так как никакого „*Общества*“, как такового, не существовало, и даже в будущем осуществление его было более, чем сомнительно.

Герман Лопатин.“

Дело, таким образом, разъяснилось, и Комиссия убедилась, что „страшное“ „Рублевое Общество“ не представляет даже ничего противозаконного, да и само „Общество“ еще существовало только в предположениях. Поэтому Комиссия 17 августа 1868 г. в докладной записке, подводящей итоги всему делу, постановила: 1) Волховского, приняв во внимание его молодость и откровенные признания, освободить от ареста и дальнейшего преследования, подчинив его негласному полицейскому надзору; 2) Лопатина же, вследствие его упорного запирательства—выслать из Петербурга, в Тифлис под непосредственный надзор отца и строгое наблюдение властей, предоставив ему, однако, право поступить на государственную службу.

17 же августа Волховский был выпущен на свободу и отдан на поруки своей матери, а Лопатин—23 августа передан в распоряжение петербургского обер-полицмейстера для высылки из Петербурга в Ставрополь (кавказский), куда был переведен его отец. В Ставрополе, по определению на службу, Лопатин был назначен „исправляющим должность младшего чиновника особых поручений при губернаторе, без жалованья впредь до открытия таковой же должности с содержанием“. Так началась недолговременная государственная служба Г. А. Лопатина, давшая ему впоследствии, при допросах, возможность именоваться вместо кандидата Петербургского университета—отставным коллежским секретарем.

3.

Пребывание Г. А. Лопатина в Ставрополе.

Непродолжительный период пребывания Лопатина в Ставрополе (с конца 1868 г. по конец 1869 г.), период его „служебной карьеры“, совершенно не освещен в его био-

графии. По свидетельству П. Л. Лаврова, автора наиболее полного о нем биографического очерка, сам Лопатин почти не вспоминал об этом времени. Да и чем хорошим мог вспомянуть молодой, полный сил и энергии человек свое вынужденное пребывание в провинции? Чиновническая карьера, конечно, не могла интересовать его, а ставропольское общество не давало никакой пищи его пытливому уму. Лопатин чувствовал себя страшно одиноким! Лишенный книг, молодого прогрессивного общества, своих друзей и товарищей, он, подобно орлу, заключенному в клетке, задыхался и тосковал в спокойной, тихой ставропольской жизни. Понятно, что мысль о побеге не переставала беспокоить неугомонного Лопатина; побегу он придавал огромное значение, говоря, что для него—это вопрос жизни или смерти. В большом своем „циркулярном" письме от 15 сент. 1869 г. Лопатин знакомит во всех подробностях своего петербургского сотоварища, Мих. Фед. Негрескула, с планом побега, попутно характеризуя при этом свою жизнь, свои занятия, отношения к обществу и т. п. В этом отношении печатаемое письмо [1]) имеет большое значение для его биографии, освещая один из темных периодов его жизни:

„Ставрополь, 15 сентября [1869 г.].

„Хотел послать Вам, М(ихаил) Ф(едорович) [2]), второе письмо тотчас после того, как послал первое, да вот до сих пор не собрался. Дело в том, что за это время я опять ездил в командировку (поселял эстонцев), из которой вернулся на-днях и застал дома Ваш ответ на мое первое письмо.

Читая описание Ваших субъективных ощущений, навеянных не заграничными людьми и событиями, я засвистал протяжно и жалобно, пытаясь, хотя немного фальшиво, попасть на голос: „ах зачем было огород городить?!"— Впрочем, едва ли сюжет этот особенно пригоден для циркулярного послания, каковым должно быть это письмо; хотя

---

[1]) Подлинник настоящего письма, к сожалению, разыскать не удалось, поэтому оно печатается по не вполне точной и исправной копии, сохранившейся в деле III Отделения—3 экспед. № 172, ч. 2 (1868—1869 г.г.).—Историко-Революц. Архив (I Отд. VII Секции Един. Госуд. Архивн. Фонда).

[2]) Михаил Федорович Негрескул, женатый на дочери П. Л. Лаврова, пользовался большой популярностью среди радикальных кругов Петербургского студенчества. Его кружок, на ряду с кружками Лихутиных и А. Старицына, был одним из важнейших петербургских нечаевских центров. Арестованный в ноябре 1869 г., М. Ф. Негрескул был посажен в Петропавловскую крепость, но скоро, в виду болезненного состояния, был выпущен. Умер в 1870 г. от чахотки.

Вы не должны сомневаться, что впечатления Ваши с этой стороны очень интересуют меня, как и всё, близко касающееся моих старых друзей.—Краткие намеки Ваши на виденные Вами картины природы прочел не без некоторого чувства зависти. Я и сам видел много хорошего в этом направлении, но это-то и заставляет меня понимать всякий намек на красоты природы; а понявши, я не могу не завидовать. Для других описание горного пейзажа или морской сцены представляет только более или менее удачно подобранные слова и выражения; для меня это ряд образов. Я зажмуриваю на минуту глаза, и вот я сейчас же чувствую, обоняю горный воздух, запах травы, вижу ослепительный блеск солнца, ощущаю своей щекой палящий зной, который отбрасывают от себя скалы, или слышу глухой ропот волн и чувствую запах гниющих водорослей, выброшенных на берег. Воображение мое часто работает в этой сфере и заставляет мое сердце ныть самым мучительным образом. Еще с бо́льшим интересом прочел я описание Ваших встреч и знакомств. Отвечать мне на Ваш рассказ, понятно, нечего: рассказы просто слушаются, но на них не отвечают; а всё Ваше последнее письмо есть рассказ, который я прочел с бо́льшим интересом и который я Вас очень прошу продолжать. Вы сказали, что познакомились с N., которого Вы почему-то называете Ольхин (?); расскажите мне о нем поподробнее, и объясните, если можете, что он желает произвесть своими трудами. В письме моем к Л., который, вероятно, переслал его Вам, я высказал в коротких словах мой взгляд на эти произведения.

Оставляю Ваше письмо и перехожу к своим личным делам. Я должен сознаться, что отсутствие всякой, сколько-нибудь широкой и полезной, деятельности, обязательный и несимпатичный труд, недостаток людей, по уму и характеру подходящих к моим вкусам, наконец, отсутствие приятных впечатлений и сильных ощущений во всех других областях жизни, в области умственной, нравственной, физической... делают для меня жизнь в С(таврополе) с каждым днем все отвратительнее и отвратительнее. Даже по газетам Вы сами можете видеть, как стесняется у нас с каждым днем всё более и более частная инициатива во всех сферах деятельности: неудачная попытка устроить нечто вроде Bildungs- und Consum-Verein'а, о которой Вы сами же мне сообщали, готовящиеся новые изменения в законах о печати, новые правила для высших учебных заведений, затруднительный доступ ко всем местам, стоящим слишком близко к народу (народные

учителя, сельские писаря,—зри циркуляры м(ин.) в(нутр.) д(ел),—совершенное закрытие для компрометированной молодежи педагогического и юридического поприща (общеизвестные циркуляры), попытки изменить к худшему положение о земстве (печатание отчетов, обложение промышленных заведений и многое другое) и положение 19 февраля (новые предупредительные правила насчет 1870 г.), высылка молодежи из столиц, возрастающая бдительность администрации даже в провинциях и разных захолустьях,—вот немногие примеры тех репрессивных мер, которыми подавляется у нас всякая частная полезная деятельность. Даже те роды деятельности, которые, в теории, совершенно дозволены, на практике наталкиваются на бесчисленные затруднения и препятствия. Любопытно видеть, как трудно держаться даже за такую сравнительно ничтожную по своей полезности деятельность, как моя должность библиотекаря. Заметьте, что меня очень любит губернатор и, судя по внешности, уважает мои мнения и мой образ действий. Когда я выезжаю в уезд, в моем предписании значится—„предписывается г.г. исправникам, становым приставам и прочим чинам земской полиции беспрекословно исполнять всякое распоряжение такого-то“. Таким образом ни одна шельма не смеет здесь затронуть меня открыто. Я обставлен здесь лучше, чем кто-нибудь, И что же?—не прошло и нескольких месяцев моего управления библиотекою, как уже подается куда следует донос, что библиотекою управляет высланный за политическую неблагонадежность, что библиотека превращена им в место сходок для гимназистов и семинаристов старших классов и для высланных студентов, что я сводничаю между молодежью и сими изгнанниками—заметьте, что всё это неправда. Прежде жандармерия открывала часть того, что происходило на самом деле; а теперь она предвосхищает у вас ваши лучшие идеи и планы, прежде чем они успели принять у вас в голове определенные формы! Из главного управления Наместника получено секретное приказание обревизовать негласно библиотеку, донести о характере ее книжного состава, назначить ответственное лицо и пр.—Понятно, что, как ни любит меня губернатор, но, в случае беспрерывного повторения подобных тревог, он не задумается отстранить меня для сохранения собственного спокойствия! Далее я уже писал, что из семинаристов дозволено посещать библиотеку только немногим, и притом они могут читать только известные книги. Я писал, что пускаю всех и даю им всё; но для этого я вынужден на свой страх вести фальшивые конторские книги. Не-

давно (месяца три назад) явился ко мне директор гимназии и, ссылаясь на секретные инструкции, просил меня не пускать в библиотеку гимназистов. Сначала я пообещал, хотя в довольно неопределенных выражениях и притом с твердым намерением не исполнять своего обещания; но потом я укрепился в своей позиции и тогда положительно отказался закрыть гимназистам доступ в библиотеку до тех пор, пока мне не будет предписано этого официальным порядком. А когда мне это предпишут (едва ли), то я попрошу гимназистов ходить не в форме, а в штатском платье. Из этого Вы видите, в каких пустяках приходится мошенничать!—Далее из официальных источников я знаю, что в июне сюда приезжал агент III Отделения (фамилии и других подробностей относительно личности, местожительства я разузнать не мог, а то он едва ли бы уехал отсюда!). Ему поручено было выждать получение в Пятигорске тюка с нечаевскими прокламациями, посланными, на основании каких-то неизвестных мне соображений, на имя директора минеральных вод Смирнова (и кому здесь нужны прокламации, да еще такие?! И почему Смирнов сочтен радикалом?!). Затем ему велено было собрать сведения об образе жизни и поведении высланных студентов. Я в особенности был рекомендован его вниманию. Вот видите, как заботится начальство о своих пациентах!—Кстати о высланных студентах. Вон N. думает, что правительство поступило отлично, разослав на свой счет пропагандистов во все концы империи. Ну, во-первых, это все желторотые первокурсники, играющие во всяком движении роль толпы, а во-вторых, на счет предоставленной им возможности пропаганды я мог бы доставить ему любопытные сведения. Секретным циркуляром (не забудьте, я служу по администрации, в центре губернских тайн) их велено продержать 2 года(!) в Ставрополе, и 5 лет они не имеют права въезда в столицы. И это за исполнение роли „толпы" в „университетской" истории; а сколько же времени будут держать меня?!—сведений об этом губернской администрации не доверено. Мест на коронной службе они найти себе не могут, потому что все места переполнены более благонадежными людьми. Действительно, ни один из них до сих пор не служит. Уроков им достать нельзя: кто же здесь вверит им своих детей? Ни народными учителями, ни волостными писарями, ни чем подобным быть им не позволят. Мало того, они принуждены постоянно жить в губернском городе, где невозможно сыскать подобных занятий. Частная деятельность в другой какой-либо форме у нас, в С(таврополе), не

развита. Таким образом все (4) они живут на счет родителей, а 3 поляка, присланные из Сибири, как я слышал, буквально собирают милостыню по купеческим лавкам (надо будет осторожно разыскать их).—Этого мало; нравственное положение их тоже не завидно. Им не с кем душу отвести. Мне с ними смертельно скучно, потому что всё это зеленая, зеленейшая юность! Людям, не сходным с нами по теоретическим взглядам, но тем не менее достигшим умственной зрелости, точно также скучно с ними. С разными пошляками, изобилующими здесь, как и повсюду, им самим скучно. Самое нормальное общество для них были бы гимназисты и семинаристы старших классов, их недавние товарищи. Но вот беда: в секретном предписании директора гимназии значится: не отмечать „способен и достоин к поступлению в университет“ тем из гимназистов 7-го класса, которые будут водить компанию с изгнанниками, а гимназистов младшего класса, которые будут якшаться с ними, просто исключать из гимназии. Результат выходит тот, что от изгнанников начинают бегать, как от чумы. И они остаются изолированными от общества и принужденными довольствоваться сообществом друг друга. Не правда ли, как легко и удобно пропагандировать при подобных условиях?!. Итак, Вы видите, насколько возможна в провинции полезная деятельность в сколько-нибудь широких размерах, особенно для нашего брата „ссыльно-поселенца“. Сверх того, время здесь так раздроблено и перебито на кусочки, что трудно заняться чем-нибудь нужным. Вот почему я бросил Iorg'a, переведши каких-нибудь четыре листа в первое, более свободное, время; вот почему я не мог до сих пор заняться сколько-нибудь основательно английским языком; вот почему часто я не могу выбрать времени для длинного письма, так как все письма, длинные и короткие, я люблю писать за один присест, невозмущаемый непрерывным вмешательством внешнего мира. Далее работа по службе мне опротивела до омерзения. Думать, что она будет продолжаться в будущем на неопределенное время—для меня невыносимо! А одна мысль о том, что я могу со временем быть правителем канцелярии или чем-нибудь подобным, может заставить меня повеситься от отчаяния и ужаса и таким образом очистить это место для следующего за мной кандидата. А может-быть, здесь и есть хорошие люди: многих из них я сам готов с удовольствием признать за людей умных, образованных, честных и добрых; но, Боже мой, что же мне делать, когда челюсти у меня трещат от зевоты, когда я разговариваю с ними, когда глаза у меня слипаются и

хотят спать, как только я погляжу на них некоторое время! Эта бесцветная жизнь, лишенная всяких живых интенсивных впечатлений в каком бы то ни было роде, меня душит. Я выражал как-то мысль, что я, как петербуржец и „страдалец за отечество", должен производить страшное кровопролитие между дамскими сердцами. Да, держи карман шире! Если бы я был выслан за дуэль, за изнасилование девушки, за побитие морды квартальному надзирателю — о, тогда не мало сюртуков должен бы был я порвать, вырываясь из сладострастных объятий жен здешних царедворцев. Но, увы, я выслан только за политику. „Ce ne sont que des perles", воскликнул умирающий от голоду араб, раскрыв найденный им мешок и увидав в нем жемчуг вместо ожидаемых пряников (не правда ли какая скромность в сравнениях?). — Чтобы характеризовать отношения здешнего общества к подобным вещам, довольно сказать, что здесь из деликатности избегают даже намекать мне, что им известно мое происхождение из пены Балтийского моря: „зачем, дескать, конфузить бедного молодого человека!" — Они полагают, что я должен крепко смущаться при воспоминании о моем прошедшем.—Положим, что и без тех могучих рессурсов, которые представляют собою „столичность" и „страдание за отечество", мне случалось иногда обращать на себя благосклонные взгляды прелестных глазок. (Вам известно, что, когда я захочу, я ведь умею гнуть похабщину в здешнем вкусе и поддерживать разговор о чем угодно). Но вот беда: здешний город, как и все захолустья, есть место, где господствует в полной силе вынужденная, насильственная нравственность...

Впрочем, все это шутки! Не шутки только одно, что я не в состоянии долее безнадежно пребывать в С[таврополе]— я вовсе не желаю рисоваться ни перед собою, ни перед другими, оправдывая это стремление к абсентеизму общественной пользой и т. п. возвышенными целями. Очень может быть, что как ни незначительна та польза, которую я приношу или буду приносить обществу здесь, она все-таки значительно более той, которую я буду в состоянии приносить там... Очень может быть, что я и сам лично ничего не выиграю от этого, что на чужбине я затоскую по родине... всё это может быть. Но сила не в этом. Сила в том, что я ежеминутно чувствую, как постепенно гибнет здесь мое нравственное существо, и это так невыразимо мучит меня, что я не в состоянии долее терпеть. Я не хочу думать, будет ли полезен такой поступок для других или для меня

самого; я должен уехать отсюда просто для того, чтобы не застрелиться с отчаяния. — Божусь Вам, что это не аффектация и не фокусничество, а истинное выражение моего душевного состояния. — Не знаю, насколько убедительны покажутся Вам мои доводы или, лучше сказать, мои восклицания в пользу абсентеизма, но дело в том, что я твердо решился уехать отсюда на будущую весну, и я хочу верить, что, если Ваша помощь понадобится мне, Вы, как старые друзья, поможете мне, не обращая внимания на то,—будете ли Вы согласны или не согласны с моим мнением о необходимости отъезда отсюда.

Мысль о побеге засела мне в голову очень скоро после моего приезда сюда. Но так как я очень хорошо сознавал, что мною руководит в этом случае стремление к личному счастью, а не какие-нибудь патриотические чувства, то я полагал, что было бы нечестно устраивать свои делишки на чужой счет (хотя бы и на счет приятелей). Поэтому я твердо вознамерился расплатиться предварительно со всеми своими долгами и, очистившись таким образом и отложив про запас рублей 300—400, отправиться в даль на собственный риск и счет (auf seine eigene Faust), как говорят немцы. Мысль о Iorg'е меня сильно ободряла. Я действительно начал было расплачиваться с долгами, начиная с тех из своих кредиторов, которые, по моим соображениям, должны были наиболее нуждаться в деньгах: я отослал брату 80 рублей, я написал В[олховско]му, прося его сообщить мне, сколько он вложил в число тех 218 рублей, которые были уплачены за конвой. Он не отвечал. У меня между тем скопилось рублей 200, которые я намеревался отослать Вам для распределения по усмотрению между моими петербургскими кредиторами. Между тем положение мое стало делаться для меня день ото дня тяжелее и тяжелее. Я с ужасом увидел, что за разными делами Iorg не подвигается вперед ни на шаг, а накопление денег посредством откладывания от жалованья подвигалось вперед с невыразимою медленностью. Я стал высчитывать, во сколько времени я могу отложить столько денег, чтобы расплатиться с долгами и уехать. Насчитал года и в отчаянии затопал ногами и стал кусать губы. Поуспокоившись, я решился пообождать несколько отправлением денег и рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения. Теперь я стал рассуждать следующим образом. Д. получает (или, по крайней мере, получал) большое содержание и не нуждается в своих деньгах; Л. до сих пор, как кажется, тоже не особенно нуждается в

тех 100 р., которые я ему должен; Б. так привык уже раздавать все свои деньги в долг, что ему решительно всё равно, несколькими рублями более или несколькими рублями менее должны ему разные „божьи люди“ (теперь он, правда, женат: это несколько затемняет вопрос).—Итак, думал я, все они, в конце-концов, могут ждать, а я не могу ждать, когда мне тошнехонько до смерти!.. Далее я размышлял: если мне удастся перебраться в Новый Свет и если даже я не найду себе на первое время работы, то я могу попробовать писать корреспонденции. — Положим, что в первое время, пока я буду плохо знать язык, корреспонденции мои будут бедны фактическим содержанием, а потому не поучительны: они будут слишком субъективны, вращаясь постоянно около моей личности, как около некоего центра, но они будут веселы, живо написаны, и потому их примут в любой журнал или газету; таким образом и там, за морями, я буду зарабатывать, по крайней мере, те же 50—60 рублей в месяц, а следовательно, по отношению к уплате моих долгов, я буду находиться в точно таком же положении, как и теперь. Ну-с, такие-то соображения приводил я себе, затеяв предложить Вам подождать уплату должных мною Вам денег до тех пор, пока я буду, например, в Чикаго, а пока употребить все свои средства приобретения на благо своей собственной особы. Что Вы на это скажете?—Прежде, когда я задумывался о побеге, мне лезли в голову всё более или менее фантастические планы: горные тропинки, длинные перегоны пешком и верхом, оружие, черноморские порты, турецкие кочермы, духоборы, контрабандисты и т. п. эффектные элементы играли в них главную роль. Когда я пообжился и поосмотрелся, планы мои несколько изменились: я стал размышлять о похищении из канцелярии губернатора бланка, на котором пишутся заграничные паспорты, о похищении подорожной, открытого листа и т. п. полезных казенных предметов. При этом взоры мои все-таки устремлялись с надеждой на порты Черного моря, которые, по своей близости, представлялись мне самыми удобными местами отбытия. В настоящее время я обдумал и отчасти начал уже приводить в исполнение другой план, более простой и удобоисполнимый, хотя и менее эффектный и фантастический (что, согласитесь, достойно всякого сожаления): я изложу его Вам здесь в общих чертах, так как времени впереди еще довольно для того, чтобы обсудить его основательно во всех подробностях. — Дело вот в чем: я достал себе настоящие, законные бумаги (кандидатский

диплом Харьковского университета и копию с метрического свидетельства), которые совершенно подходят к моим летам и ухваткам. Я перешлю их в С.-Петербург как следует страховым порядком; кто-нибудь из друзей потрудится прописать их в половине марта на какой-нибудь квартире. В половине мая он возьмет от мирового судьи и из полицейского участка свидетельство о том, что к выезду его за границу препятствий не имеется. Затем все сии документы он отнесет в иностранное отделение канцелярии обер-полицмейстера и возьмет там заграничный паспорт. Когда я узнаю об этом (телеграмма), я поеду в Ростов (самая трудная часть предприятия—будет стоить рублей 25); из Ростова я еду по чугунке в Петербург (25 р.); пребываю там два дня, сажусь на пароход и отплываю, например, в шведский город Гетеборг (25 руб.).—Я читал недавно, что из Гетеборга до Чикаго доехать (со столом) стоит 55 рублей. Таким образом дорога от Ставрополя до Чикаго обойдется мне в 130—150 рублей. Так как бумаги мои настоящие и я могу жить с ними даже в России, избегая только столиц, где меня знают в лицо, да тех мест, где живет владелец означенных бумаг, а также избегая вторичного поступления на коронную службу (ибо он служит)—то, на основании всех этих соображений, я и не желаю совершенно отрезывать себе отступления в Россию, даже в форме патриотической, сиречь с русскими бумагами, и потому я желал бы всегда иметь про запас рублей полтораста, на случай возвращения на родину; наконец, мне понадобится еще рублей 150 для того, чтобы прожить первые три-четыре месяца, пока я выучусь порядочно объясняться по-американски и найду работу. Итого для приведения в исполнение моего плана мне нужно рублей 450 или 500 по нынешним курсам. А такие деньги по весне у меня будут, если я воздержусь от расплаты с долгами до более благоприятного времени.

Я откладываю исполнение всех своих „предначертаний" до весны на основании следующих соображений: 1. Железная дорога от Таганрога до Харькова откроется для публики не ранее ноября. 2. Зимою порты Балтийского моря закрыты: придется ехать сухопутьем до Гамбурга. 3. Я бы не желал очутиться в чужой земле зимою. То ли дело: ни крова, ни теплой одежды не нужно, да и есть хочется менее и пища дешевле. 4. К весне у меня, по моему расчету, непременно будет 400, а может-быть, и 450 рублей. Если же Ив. Ив. не прогневается до конца и не отымет Iorg'a, то к весне-то я его непременно доломаю, и таким образом у меня будет

денег гораздо более того, сколько мне нужно. 5. К весне я настолько выучусь английскому языку, что буду свободно понимать книги и газеты, так что месяца через два, через три пребывания моего на американской территории я буду, вероятно, понимать добрых людей и сам изъясняться с достаточной развязностью.

Что касается английского языка, то я занялся им как следует только недавно. Сначала мешало мне взяться за него неимение книг, а потом неимение времени в больших порциях. Подобно многим и многим „широким русским натурам“, я привык всякое дело делать запоем и плохо умею пользоваться кусочками времени, остающимися в промежутках между разными делами и бездельями. В половине прошлого августа губернатор уехал из города, официальная работа для меня прекратилась, я попробовал почитать Спенсера (Principles of Biology), начало мне показалось нетрудным; это меня заинтриговало; я засел тогда за него со всем усердием, просидев, не разгибаясь, 16 дней, и в эти 16 дней прочел весь том, т.-е. 560 стр. (многие места доставили мне живейшее наслаждение). Вы не поверите, как это меня ободрило, я не обманывал вовсе себя и хорошо понимал, что можно свободно читать Спенсера и вместе с тем почти не понимать романов и газет, но дело в том, что начало уже было сделано и хорошее начало. Вскоре вернулся губернатор, снова началась служба, и исключительные занятия английским языком должны были прекратиться. Но с этого времени я дал себе честное слово читать ежедневно по-английски не менее часу и до сих пор я твердо держал это слово и вполне уверен, что сдержу его и впоследствии. Я прочел хрестоматию Паунера (250 стр.). Теперь я читаю какой-то роман под заглавием Paul Terrot. Когда я прочту еще несколько романов, я возьму у губернатора старые №№...[1]) (он прежде выписывал эту газету), который он получает, кажется, и до сих пор. Я бы хотел видеть несколько нумеров каких-нибудь американских журналов и газет. Если у Вас есть что-нибудь подобное — пришлите, хочу также выписать через Р. К. Т. мой словарь английских идиотизмов и простонародных выражений, изданный не очень давно, не помню кем.

Напишите, как Вы все взглянете на мое предприятие и могу ли я рассчитывать на деятельную помощь с Вашей стороны в вышеизложенном смысле. Рекомендую самую изысканную осторожность в этом отношении. Для меня это дело жизни и смерти. Мне кажется, что, если бы моя попытка

1) В копии письма пропуск.

не удалась и меня схватили, я застрелился бы, конечно, после того, как я истощил бы все усилия для своего освобождения, какие только может доставить ум или физическая сила,— до такой степени страшным представляется мне мое положение здесь после неудачной попытки. Жгучий стыд, разочарование в любимейших местах, отчаяние за будущее, горестные лица „родителев и других соприсносущих мне по естеству“, злоба начальства и пр., и пр.,— всё это нестерпимо ужасно. Одна мысль о подобных страстях приводит меня в содрогание! Поэтому я не желаю, чтобы про это письмо известно было кому-нибудь то ни было, кроме бр-ь-х [?], членов с ними (бр. Н-в, Гр-ва Ф-га), Вас и Любаша [1]). О том, как можно обделать всё это, не привлекая к делу других лиц, поговорим после со всею должною подробностью.

Я уже говорил Вам, что я желал бы отдать свой долг В[олховско]му; он и его мать всегда нуждались. Я писал ему об этом сюжете 2—3 раза, но не получил ответа. Вскоре затем его арестовали (он и теперь, кажется, сидит где-то в С.-Петербурге. Недавно я писал как-то его матери о том же, но тоже не получил ответа. Между тем я знаю, что она наверное нуждается. Поэтому я хочу попросить кого-нибудь из Вас вот об чем: в С.-Петербурге есть 2-ая военная гимназия (у Тучкова моста), там есть воспитатель Григорьев (Иван Васильевич), он женат на родной сестре матери Волховского, в доме его живет также мать обоих сестер, бабушка Волховского. Когда мать Волховского бывает в С.-Петербурге, она всегда останавливается у Григорьева. Я попрошу кого-нибудь из вас сходить к Григорьевым и от моего имени разузнать у них о В[олховск]ой; если она в С.-Петербурге, то отдайте ей то, что В[олховск]ий вложил в число тех 218 руб., которые были уплачены за конвой (Ив. Ив. знает, вероятно, сколько денег из этой суммы принадлежало В[олховско]му); деньги эти я вышлю Вам немедленно по получении от Вас известия о том, сколько, именно, Вы ей отдали. Если же ее нет в С.-Петербурге, то узнайте для меня ее адрес (который Григорьевым всегда должен быть известен), то я сам спишусь и сочтусь с нею. Узнайте также, не известно ли чего-нибудь положительного о судьбе Феликса [Волховского].

Я не знаю, отчего Вы не поняли моей просьбы насчет земства. Я просто просил Вас разузнать для меня литера-

---

[1]) Я никогда не говорил об этом деле даже с братом Всеволодом, с которым живу в одной комнате.

туру этого предмета; вступать в переписку по этому предмету для меня бесполезно, потому что дело к спеху.

Помните, Вы писали как-то, что члены Скита переводят Marx'a „Zur Kritik“ и пр. Какая судьба постигла этот перевод, что он до сих пор не появляется в печати?

Вы когда-то давно обещали мне выслать все сочинения Лассаля. В разное время я получил от Любаша...[1]) и только. Если у Вас есть другие его сочинения (брошюры), мне было бы приятно получить их. Мой брат для упражнения в немецком языке переводит его две брошюрки на „якобы русский“ язык.

Скажите, служите ли Вы попрежнему в Обществе Взаимного Кредита? Как Ваше здоровье? Несмотря на Ваше повествование, честное слово, я никак не могу представить себе Вас больным!

Я ввожу здесь женский труд (!) — один из моих помощников по библиотеке — девочка, хотя, говоря между нами, очень плохонькая девочка.

Скажите Ив. Ив., что я помню — последний визит остался за мною и что я буду писать ему на-днях; но что мне кажется, что ему следовало бы считать мои письма к Вам также и за письма к нему. Что Вы думаете об этом?

Отвечайте поскорее и побольше. Помните, что настоящее письмо, если бы было писано через строчку, заняло бы, по крайней мере, семь листов, а это подвиг. Если найдете удобным, перешлите потом это письмо к Любашу, а затем пусть оно будет радикально уничтожено.

Подписал Г е р м а н.

17-го сентября.

Отсылая свое письмо на почту, никогда я не боялся так за его судьбу, как теперь“.

Г. А. Лопатин не даром так беспокоился за судьбу своего письма. В ноябре 1869 г. Негрескул был арестован в связи с нечаевским делом, и в бумагах его было найдено неуничтоженное письмо Лопатина. Говоря о своем побеге за границу, Лопатин указывал на чужие документы, которыми он намеревался воспользоваться; в виду этого в начале декабря 1869 г. по телеграфу было дано предписание в Ставрополь — немедленно произвести строжайший обыск и заарестовать Лопатина. На допросе 1 января 1870 г. он и дал печатаемые ниже показания, служащие хорошим дополнением к приведенному выше письму; показания эти, по свидетельству П. Л. Лаврова, „долго циркулировали среди

1) В копии письма пропуск.

молодежи, как образчик прямоты и резкости тона, с которым должен держаться убежденный человек при допросе".

„1 января 1870 года состоящий при Ставропольском жандармском управлении капитан Афанасьев предъявил мне письмо, писанное мною к дворянину Негрескулу, и потребовал от меня подробных объяснений относительно обстоятельств, заключавшихся в этом письме. На сделанные мне по этому поводу вопросы, я объяснил:

Прежде я полагал, что, так как каждый человек имеет природное и неотъемлемое право защищать свою внутреннюю, интимную жизнь от насильственного вторжения в нее лиц, ему совершенно чуждых и несимпатичных, и так как законы той страны, в которой я имел несчастие родиться, ни малейшим образом не обеспечивают частных лиц от подобных насильственных вторжений в их интимную жизнь, а общество недостаточно развито нравственно и недостаточно сильно, чтобы протестовать, помимо закона, против такого обращения с его членами, то поэтому ложь и увертки на допросах, подобных настоящему, представляют совершенно простительное и даже законное орудие слабости перед насилием и произволом со стороны силы. На этом основании, в прежде бывших со мною случаях, я считал себя в праве прибегать к таким способам и давать ложные объяснения относительно таких обстоятельств, истинное объяснение которых было бы профанацией идей и чувств, составляющих „лучшую кровь моего сердца" (по выражению какого-то поэта), перед лицом людей, относящихся к ним более чем несимпатично. Я был достаточно наказан за это тем чувством глубокого нравственного унижения, которое неразрывно связано для всякого порядочного человека с произнесением лжи. Необходимость отказываться от старых показаний и придумывать новые, по мере скопления обстоятельств, не согласных с прежними утверждениями; унизительная необходимость выслушивать увещания и разные нравственные сентенции со стороны лиц, к которым относишься со всем, чем угодно, только не с уважением и сочувствием,... всё это слишком еще памятно мне для того, чтобы я решился испытать это чувство еще раз. Не отрицая и теперь, в теории, извинительности лжи при подобных обстоятельствах, — на практике я нахожу для себя нравственно невозможным еще раз прибегнуть к этому способу. Поэтому я решился, в настоящем своем показании, правдиво объяснить всё то, что относится лично ко мне или к таким обстоятельствам, которые я нахожу возможным объяснить, и

просто уклониться от всяких объяснений того, что относится к другим лицам и чего, следовательно, я не имею никакого права касаться, предоставив разъяснение всех таких обстоятельств тем обширным рессурсам, которыми располагает 3-е Отделение.

Я буду разъяснять обстоятельства, обратившие на себя внимание 3-го Отделения, в том порядке, в каком обстоятельства эти следуют одно за другим в моем письме.

1. Подчеркнуты слова: „ездил в командировку (поселял эстонцев)... и пр.“ — слова эти мне кажутся совершенно понятными и ясными. Отчет об этой служебной командировке представлен мною своевременно г. начальнику губернии.

2. Подчеркнуты слова: „Ваши ощущения, навеянные незаграничными людьми и событиями, не особенно пригодны для такого циркулярного послания, как это письмо“. Здесь я намекал на письмо Негрескула, в котором он говорил о своих отношениях к жене и матери, т.-е. о таких вещах, о которых я не находил возможным рассуждать в „циркулярном послании“, т.-е. в письме, назначенном не для одного его, а для всех моих знакомых, которые поинтересовались бы узнать что-нибудь о моем житье-бытье в Ставрополе.

3. Далее, в письме моем, я намекаю на рассказ Негрескула о его встречах за границею. Письмо Негрескула об этом предмете получено мною очень давно и давно уничтожено. Сам Негрескул, конечно, может припомнить эти встречи гораздо живее и рассказать об них 3-му Отделению гораздо обстоятельнее, чем я.

4. Подчеркнуты слова: „неудачная попытка устроить нечто вроде „Bildungs- und Consum-Verein'a“ и пр.“ Здесь я намекаю на сообщенный мне слух о том, будто бы в С.-Петербурге предполагалось недавно организовать между фабричными рабочими общество для удешевления первых жизненных потребностей и для взаимного обучения; но что г. министр внутренних дел не дал своего позволения на учреждение этого общества.

5. Сведения о „новых правилах для высших учебных заведений“, о готовящихся „новых изменениях закона о печати“ в неблагоприятную для свободы сторону — почерпнуты мною из газет, как и сказано об этом в моем письме. Сколько я помню, я также читал циркуляр министра внутренних дел, которым запрещается принимать в сельские писаря бывших студентов. Мне известно также из многих примеров, что, хотя звание народного учителя и не закрыто официально для лиц, получивших высшее образование, но

что, на практике, администрация смотрит очень подозрительно на народных учителей, получивших университетское воспитание.

6. Подчеркнуты слова: „трудно держаться даже за такую ничтожную по своей полезности деятельность, как моя должность библиотекаря“. Далее, в письме разъяснено, почему я находил трудным держаться даже за эту должность: потому что до меня дошли слухи об неосновательных обвинениях меня в таких вещах, которых в действительности никогда не было. Я опасался, что, с усилением подобных слухов, губернатор сочтет необходимым отстранить меня от занимаемой мною должности.

7. Я сказал: „судя по внешности, губернатор любит и уважает меня“. Мне действительно казалось, что губернатор видел во мне человека способного, не бегающего от работы, умеющего справиться со всяким порученным ему делом и, наконец, смею думать, человека честного. Обращение его было соответственно такому его мнению обо мне.

8. О подозрениях на мой счет, будто бы я сделал библиотеку местом сходок для гимназистов и семинаристов старших классов и для высланных студентов, я узнал от бывшего директора здешней гимназии, г. Дельсаля, который намекнул мне при этом (или, по крайней мере, я так понял его слова), что подозрение это сообщено кем следует и куда следует. Между тем всё это совершеннейшая неправда, как я и сам говорю в моем вполне откровенном письме к моим друзьям.

9. Действительно, по распоряжению здешнего архиерея, только немногим семинаристам было дозволено посещать общественную библиотеку, для чего им выдавались особые виды. Признавая эту меру совершенно обскурантною и нелепою, я действительно постоянно нарушал ее. Не имея права принимать семинаристов в число постоянных и долгосрочных подписчиков библиотеки, я не мешал им, однако, посещать читальную залу и не спрашивал у них билетов. Деньги, поступавшие с них, я вносил на приход под другими, вымышленными рубриками. По весьма понятным причинам, я не находил удобным сообщать обо всем этом г. попечителю или г.г. членам дирекции библиотеки. Как я выразился в своем письме, всё это я делал „на свой собственный страх“.

10. О распоряжении обревизовать библиотеку я догадался по странному образу действий губернского цензора Юрьева, по вниманию, с которым он изучал, в течение не-

скольких дней, каталог библиотеки, и по некоторым неосторожно оброненным им словам.

11. Вся история о запрещении гимназистам, со стороны их начальства, посещать библиотеку рассказана мною совершенно обстоятельно в самом моем письме.

12. Сведения об агенте 3-го Отделения и о данном ему поручении были сообщены мне из Петербурга письмом без подписи, полученным мною во время пребывания моего в Пятигорске. В этом письме положительно утверждалось, что сведения эти добыты из официальных источников. Меня просили быть осторожным и предупредить остальных высланных. Последнего я не мог сделать, так как я находился в это время в Пятигорске. После же того, как я вернулся в Ставрополь, я не только не смог разузнать никаких дальнейших подробностей об этом агенте (как я и пишу об этом в своем письме), но и самое существование его оказалось в высщей степени сомнительным.

13. Взгляд мой на молодых людей, высланных в Ставрополь, ясен из самого моего письма. Что же касается до содержания секретных предписаний, сообщаемого в моем письме, то относительно этого я должен сказать следующее: хотя я и был устранен от всяких занятий по „распорядительному" столу и хотя я не мог не заметить, что от меня тщательно скрывают не только содержание, но и самое получение так-называемых секретных бумаг, тем не менее, по самой своей должности, я всегда имел возможность тереться в канцелярии губернатора; при этом всякая случайно оставленная на столе бумага, всякое невзначай оброненное слово, одним словом — всё принималось мною в соображение и служило элементом для построения моих догадок и предположений, часто очень близко подходивших к истине. Для этого требовалась только некоторая доля проницательности и внимания, которыми обладают, как известно, не одни только чины 3-го Отделения. Городские слухи, обыкновенно развитые в провинциях до nec plus ultra, оказывали мне в этих случаях также немаловажные услуги.

14. О трех поляках, возвращенных из Сибири и поселенных в Ставрополе, ходили слухи самого определительного свойства: многие уверяли, что к ним лично обращались на улице за милостынею эти господа; другие уверяли, что встречали их в лавках, где они обращались к хозяевам и приказчикам с просьбою о вспомоществовании. Они ссылались при этом на то, что выданные им свидетельства не позволяют им найти для себя никаких честных занятий.

15. О предписании дирекции гимназии относительно общения между гимназистами и высланными студентами сообщено мною на основании слухов, весьма распространенных в здешнем обществе.

16. Подчеркнутая фраза о том, что „в провинции невозможна широкая и полезная деятельность“, объясняется, как мне кажется, всем предыдущим.

17. Почему подчеркнута (да еще трижды) фраза: „я не могу никак выбрать времени для длинного письма... и пр.“, я не понимаю, а потому оставляю ее без объяснений. Мне лично она кажется ясною до последней степени.

18. В письме моем выражено желание уехать за границу и именно в Чикаго (С. Америка). В этом же письме с совершенннейшею ясностью выставлены мотивы, побудившие меня к этому. Я пишу, что я уезжаю не с целью занять место между русскими эмигрантами где-нибудь в Женеве, не с целью конспирировать за границею против русского правительства, а просто потому, что подневольная жизнь в Ставрополе опротивела мне до последней степени. Очень может быть, что здешнее общество — во всех отношениях прекрасное общество, — но мне оно казалось скучным, потому что я привык прежде постоянно жить в обществе молодежи, жадно следящей за наукой и искренно волнующейся успехами прогресса во всех областях жизни. Очень может быть, что занятия чиновника особых поручений при губернаторе — очень интересные, очень полезные занятия, но мне, к сожалению, они не казались ни особенно интересными, ни бог знает какими полезными. Я старался добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, но не переставал чувствовать себя на коронной службе совершенно не в своей тарелке. Но главное—я совершенно не привык и не желал долее сидеть в Ставрополе, как собака на цепи, лишенный права свободно располагать собою и не стесняясь высказывать свой образ мыслей. Конечно, я с гораздо бо̀льшим удовольствием предпочел бы уехать за границу легальным путем, если бы я не был уверен, что мне отка̀жут в позволении на это. По весьма понятным причинам, я не могу рассказать, каким образом попали в мои руки документы одного из харьковских студентов, умершего в моих летах. Документы эти были уничтожены мною, когда по городу стали ходить слухи об обыске у Черкесова и о многочисленных арестах, произведенных в Петербурге, — слухи, распространившиеся, по всей вероятности, от проезжих, оставивших Петербург в двадцатых числах прошлого ноября.

19. Долги, о которых я упоминаю, произошли следующим образом. Высылая меня из Петербурга в сентябре 1868 г., 3-ье Отделение потребовало с меня 218 рублей за конвой. У меня никогда не бывало таких сумасшедших денег. Негрескул занял их для меня у некоторых общих знакомых, имена которых он может сообщить, если только он не перезабыл их в течение такого долгого времени. Я собирался отослать Негрескулу полностью все 218 р. для распределения их по назначению между моими кредиторами, но потом раздумал, как это и значится в моем письме.

20. Волховскому я писал три раза, прося его сообщить мне, сколько именно я ему должен. О том же я писал раза два его матери. Но ни от одного из них не получил ответа, как это упомянуто и в моем письме. Полагаю, что письма мои были перехвачены тайной полицией, хотя они не заключали в себе ничего предосудительного.

21. Подчеркнутая фраза, начинающаяся словами: „и так, думал я, все они... пр.", как мне кажется, совершенно ясна после внимательного прочтения всего предыдущего.

22. План предположенного мною побега развит мною в моем письме с такою подробностью и обстоятельностью, что я не вижу ни малейшей необходимости присовокуплять к нему еще что-либо. Полагаю, что и красным карандашом отмечен он только ради той важности, которую придает этому обстоятельству 3-ье Отделение, а не ради каких-нибудь недоумений.

23. Подчеркнуты слова: „я не хотел бы отрезывать себе совершенно путь отступления в Россию". Фраза эта совершенно объясняется, по моему мнению, некоторыми другими местами моего письма, где я говорю, что я боюсь, как бы я на чужбине не затосковал по родине.

24. Также кажется мне совершенно естественною фраза о том, что неудача в моей попытке повергла бы меня в глубочайшее отчаяние и тоску так, что я оставляю эту фразу также без всяких дальнейших комментариев.

25. Сочинение Спенсера „Principles of biology" дозволено в России и на-днях вышло уже по-русски. Об готовящемся переводе Iorg'а, о котором упоминается в моем письме, также было публиковано в газетах.

26. Под словом „скиг" я разумел квартиру Негрескула, который прежде не умел жить один, всё равно, как он не умел спать без того, чтобы возле его постели не горела свечка. Что касается до фамилий, обозначенных при этом мною условными буквами, то я не считаю себя в праве

сообщать их, не потому, чтобы я считал их преступными или думал, что они должны опасаться чего-нибудь от правосудия, но потому, что наше так-называемое „правосудие“, следуя примеру покойной памяти Фабия-Кунктатора, не любит спешить, и лица, на которых оно наложило свою тяжелую руку, достигают объявления себя невинными не прежде, как пройдя длинный и тернистый путь всевозможных испытаний. Поэтому я считал бы себя последним негодяем, если бы я сделался умышленною причиною всевозможных беспокойств для этих лиц и тяжелого горя для их родных и друзей за то только, что лица эти имели смелость питать ко мне дружеские чувства, не смущаясь постигшей меня опалой. Я слишком верю в искусство и доброе усердие чинов 3-ье Отделения для того, чтобы считать мои показания в этом случае сколько-нибудь необходимыми.

27. „Всеволод“—это мой брат, проживающий в настоящее время в доме моего отца. Как значится в самом моем письме, назначенном для друзей, а потому писанном без всякой сдержанности, *я никогда не посвящал его в свои планы и намерения.* Я полагал, что для моей матери довольно и одного сына с беспокойным характером.

28. Григорьевы, как значится в моем письме, близкая родня Волховским, а потому неудивительно, что я прошу разыскать Волховскую через них. Я надеюсь, что цель, для которой я разыскивал Волховскую,—совершенно невинная, что быть в родстве с Волховскими—еще не государственное преступление и что, следовательно, я не компрометировал почтенных людей, вследствие непростительной неосторожности лица, к которому было писано мое письмо и которого я упрашивал самым настоятельным образом истребить его немедленно по прочтении. Григорьевы знают меня в лицо и по имени, потому что мне не однажды случалось бывать у Волховской, когда она гостила у них в старину. С ними же лично я никогда не был знаком.

29. Сочинение Marx'а: „Zur Kritik“ и пр. переводилось для издания в России. В газетах было своевременно заявлено о готовящемся издании сочинений этого писателя. Сочинения Лассаля, о которых я упоминаю, также вышли в настоящее время в России.

30. Получал я письма на адресы отставных солдат и т. п. лиц из простого класса, которым делал за это, от времени до времени, маленькие подарки. По причинам, понятным без всяких объяснений, я употреблял всевозможные предосторожности, чтобы скрыть мои сношения от

моего отца и от губернатора, которым был вверен надзор за мною. Я старался держать себя с тактом перед лицом здешнего общества для того, чтобы усыпить какие бы то ни было подозрения касательно моего истинного образа мыслей или моих намерений в будущем.

Герман Лопатин".

К счастью, на этот раз Лопатин не долго пробыл в заключении. Надзор за ним был слабый: к нему беспрепятственно допускались родные, ему позволялось без надзора выходить на прогулки. Конечно, Лопатин, по опыту, зная действия III Отделения и не надеясь на что-либо для себя хорошее, не стал дожидаться окончания своего нового дела и использовал благоприятно сложившиеся обстоятельства: не дожидаясь весны, зимою же, предпринял побег, который для него теперь действительно стал вопросом жизни или смерти. Вечером 6 января 1870 г. он не вернулся с прогулки и, несмотря на тщательнейшие поиски, найден не был. С большими приключениями добрался он до Ростова, оттуда отправился в Петербург, но по дороге за границу предпринял смелое до дерзости освобождение П. Л. Лаврова из его кадниковской ссылки [1]). Привезя Лаврова в Петербург, Лопатин снабдил его своим заграничным паспортом, выждал в Петербурге возвращения этого же паспорта и, наконец, спокойно перебрался сам за границу.

IV.

Пребывание Г. А. Лопатина в Сибири и его неудачная попытка освободить Н. Г. Чернышевского.

В противоположность ставропольскому году жизни Лопатина, его почти трехлетнее пребывание в Сибири, куда он попал с целью освободить Чернышевского, довольно подробно освещено в биографическом очерке, составленном П. Л. Лавровым [2]). Вполне понятно—об этом периоде,

---

[1]) Об освобождении Лаврова из ссылки сам Лопатин рассказывает в своих воспоминаниях: „П. Л. Лавров в воспоминаниях современников" („Гол. Мин." 1915, № 9, с. 137—145); рассказ его перепечатывается ниже.

[2]) *П. Л. Лавров*, Г. А. Лопатин. Изд-во „Колос". Петр. 1919. с. 30—41.

полном самых неожиданных приключений и отношений, Лопатин рассказывал, очевидно, очень много. Да и было что порассказать: его троекратный побег, знакомство с самыми разнообразными людьми, странные отношения генерал-губернатора Восточной Сибири Н. П. Синельникова, оценившего ум и энергию Лопатина и мечтавшего превратить его в своего помощника по реформам огромного края,—всё это так и бьет своей яркостью и красочностью и так хорошо гармонирует с Лопатиным, вечно рисковавшим собою, вечно искавшим „сильных ощущений". Поэтому, благодаря известности этого периода, можно ограничиться только приведением письма Лопатина к Синельникову и указанием точных фактических данных о его пребывании в Сибири.

2 февраля 1871 г. III Отделением была получена из Иркутска шифрованная телеграмма о задержании некоего Николая Любавина, обратившего на себя внимание странностями своего поведения. Судя по дошедшим в Иркутск „слухам", сообщает далее телеграмма, Любавин—не кто иной как Лопатин, прибывший в Иркутск с целью помочь Чернышевскому бежать за границу. Задержание Лопатина без каких-либо определенных улик поставило III Отделение в затруднение—что с ним делать и как пресечь его вредную антиправительственную, хотя и фактически недоказанную, деятельность. „Герман Лопатин умен,—пишет составитель по этому поводу доклада, — с большими способностями, характера твердого, настойчивого, предприимчив, умеет расположить тех лиц, которые ему нужны. Вместе с тем натура его кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе, так как во всех его действиях и даже в письменных объяснениях, весьма рельефно проглядывает ненависть к правительству и настоящему порядку в России. Поэтому невольно возникает вопрос, что делать с подобным человеком: предать его суду,—но, по бывшим примерам, суд, по всей вероятности, определит ему весьма незначительное наказание, собственно за побег и фальшивые документы, и не обратит никакого внимания на вредную его политическую деятельность, как фактически недоказанную. Затем Лопатин будет свободно продолжать эту деятельность и, разумеется, в усиленном размере, как человек, ожесточенный преследованием. Подвергнуть Лопатина продолжительному аресту без суда едва ли удобно. Наконец, остается выслать его административным порядком под надзор полиции. Но в настоящее время весьма трудно выбрать

для этого такой пункт, где бы Лопатин был возможно более изолирован, что крайне было бы необходимо, так как, из сопоставления многих обстоятельств, нельзя предполагать, чтобы Лопатин вообще действовал сам по себе, отдельно". Не решая окончательно вопроса о Лопатине, временно было постановлено предоставить разобрать его дело в Иркутске. Но, как и следовало ожидать, Лопатин мог быть судим только за проживание по чужому паспорту, за что суд, в конце сентября 1871 г., присудил его только к сторублевому штрафу. Тем не менее он был оставлен под особым надзором в тюрьме, а III Отделение продолжало отыскивать против него новые улики.

К этому времени и относится более близкое знакомство Лопатина с генерал-губернатором Н. П. Синельниковым, заинтересовавшимся незаурядною личностью своего арестанта, и их взаимная симпатия. 15 февраля 1873 г. Лопатин написал приводимое ниже письмо [1]), в котором *сам* сознается в намерении освободить Чернышевского, откровенно говорит о всей своей прошлой деятельности (кроме помощи в побеге Лаврова) и объясняет причины, побудившие его дважды бежать из Иркутска.

„Ваше Высокопревосходительство,
Милостивый Государь,
Николай Петрович.,

В виду того участия, с которым Вашему Высокопревосходительству угодно было отнестись к моему настоящему положению, я решился обратиться к Вам с письмом, в котором я намерен разъяснить откровенно, как это положение, так и самую мою личность, для того, чтобы на основании этих сведений Вы сами могли судить как о предмете Вашего участия, так и о той степени участия, которую для Вас было бы желательно и возможно оказать ему.—Я полагаю, что самый лучший и самый легкий способ к достижению предположенной мною себе цели заключается в том, чтобы изложить в связном и сжатом очерке то, что, на техническом языке юристов, могло бы быть, названо—„справкою о судимости".

В первый раз я был арестован в мае 1866 года. Так как я пишу это письмо по своей доброй воле и так как я

1) Дело III Отделения Собств. Его Имп. Канц., 3 Экспед. № 172, ч. II (1868—69 г.г.).—Историко-Революц. Архив (I Отд. VII Секции Единого Госуд. Архивн. Фонда).

не имею ни малейшего желания *выпрашивать себе снисхождения или чего-нибудь подобного*, то, я надеюсь, Вы поверите мне, когда я скажу, *что я ни сном, ни духом не был причастен к т.-н. Каракозовскому делу*, хотя и был довольно близко знаком с некоторыми из обвиненных по этому делу лиц, что, вероятно, и послужило поводом к моему аресту. Я не скажу, чтобы и в то время политический, экономический и нравственный строй русской жизни представлялся мне наиболее разумным и наиболее желательным, но внимательное чтение истории показывало мне, что во все времена и у всех народов всякому великому перевороту в общественном строе предшествовало всегда предварительное распространение известных идей в народной *массе* и что все т.-н. заговоры, все эти преждевременные нетерпеливые *попытки интеллигентного меньшинства* к насильственному ниспровержению существующего общественного строя, опирающегося *на несокрушимую поддержку* малоразвитого, но *неизмеримо сильнейшего большинства*, никогда не приводили ни к чему, кроме усиления реакции и задержки *на несколько лет правильного общественного развития*. Когда впоследствии, уже находясь в тюрьме, я перебирал в уме свои разговоры с некоторыми из участников этого несчастного дела, мне стало ясно, что со мною не раз пробовали заговаривать в общих чертах, так сказать, в отвлеченной форме, о предприятиях подобного рода; *но вышеизложенные историко-политические взгляды мои,* высказанные со свойственною мне прямотою и определительностью речи, и мои резкие, насмешливые выходки по поводу несимпатичных мне доктрин послужили причиною того, что эти люди, не видя во мне будущего сотрудника, не находили нужным входить со мною в какие-либо подробности относительно своих затей. Только уже после первых арестов некоторые из этих лиц, предвидя угрожающее им лишение свободы, сочли нужным переговорить со мною откровенно и просить меня,—не как товарища по делу, а просто как порядочного человека,— взять на себя труд истребить кое-какие вещи, предупредить о чем следует кое-каких лиц и, вообще, принять меры, чтобы налетевшая буря захватила поменьше жертв, большая часть которых, говоря по совести, были более легкомысленны, чем виновны. Вот и всё мое участие в этой истории. Тем не менее, во время сильного общественного возбуждения, последовавшего за несчастным покушением 4 апреля, когда всё сколько-нибудь прогрессивное, всё мало-мальски живое,— начиная от действительных (хотя и не опасных по своей

малочисленности и бессилию) заговорщиков и кончая участниками всевозможных литературных обществ, рабочих артелей и экономических ассоциаций, — возбуждало более или менее сильные подозрения и подвергалось преследованию; я также был арестован и просидел в Петропавловской крепости столько времени, сколько это показалось нужным известной комиссии. Вся эта история по отношению ко мне окончилась ничем, и я был освобожден безусловно, не будучи даже отдан под официальный надзор полиции. Я остался в Петербурге, стал готовиться к наступившим в эту пору окончательным экзаменам и сдал их осенью того же 1866 года.

Хотя, повторяю, я никогда не был конспиратором, хотя я никогда не верил в возможность успеха каких бы то ни было революционных попыток со стороны какой-нибудь горсти фанатизированной молодежи, тем не менее известный склад моих собственных убеждений сделал то, что так-назыв. коронная служба никогда не представляла для меня ничего привлекательного; я никогда не чувствовал ни малейшего желания сделаться агентом, опорою и проводником такого порядка вещей, который нимало не соответствовал моим теоретическим представлениям о наилучшем общественном устройстве. Литературный труд, учительство и т. п. вольные профессии казались мне несравненно симпатичнее и подходящее к моему характеру. Вследствие этого, окончив курс, я не спешил вступить на торную дорогу государственной службы и продолжал жить изо дня в день литературной поденщиной и учительством. К этому периоду относится одна моя затея, которая повлекла за собой мое вторичное испытание. Меня всегда смущало то обстоятельство, что большая часть так-назыв. прогрессивной молодежи обсуждает вопросы нашей внутренней жизни почти исключительно на основании теорий, почерпнутых из иностранных книжек, да, пожалуй, еще на основании собственных соображений чисто отвлеченного свойства. Большая часть из них, покинув провинцию для университета чуть не в детском возрасте, обладает слишком ничтожным знакомством с действительным положением и жизнью народа для того, чтобы это знакомство могло влиять контролирующим образом на их теоретические взгляды и практические предприятия. Печальные результаты, проистекающие из такого порядка вещей, понятны сами собою. Так вот мне хотелось пособить заполнению этого пробела, по крайней мере по отношению к себе самому и некоторым из своих друзей

составив для этого, в компании с одним из своих приятелей, общество кочующих сельских учителей. Затевая это предприятие, мы имели в виду несколько целей. Во-первых, нам представлялась возможность поддерживать свою жизнь при помощи безусловно честного и симпатичного для нас труда. Во-вторых, наша деятельность должна была служить непосредственно к умственному, нравственному и материальному преуспеянию тех масс, к которым склонялись наши лучшие симпатии. И, в-третьих, эта деятельность, приводя нас в непосредственное соприкосновение с массами, позволяла нам рассмотреть поближе этого загадочного сфинкса, называемого *Народом*. Мы рассчитывали получить таким образом возможность ознакомиться основательно с экономическим положением народа, его нуждами и потребностями, с его взглядами на вещи и его умственным развитием, со степенью его восприимчивости к известным идеям, а также со степенью основательности тех надежд, которые возлагаются на него пылкими приверженцами быстрого прогресса. Такое солидное знакомство с народом позволило бы нам составить себе ясное понятие об истинном положении вещей внутри нашего отечества и сознательно избрать себе на будущее время тот путь, следуя которому мы могли рассчитывать принести наиболее пользы вскормившему и воспитывавшему нас обществу. Здесь не место входить в изложение подробностей нашей затеи, которая, как Вы видите, не представляла, в сущности, ничего особенно утопического. Скажу только одно: во всем этом плане, быть-может, было много юношеского, незрелого, непрактичного, но в нем не было решительно ничего вредного, так как мы имели в виду изучение масс, пропаганду известных разумных начал, но никак *не агитацию*, потому что каждый из нас был убежден в том, что никакая единичная вспышка не приносит для своих участников и для целого общества ничего, кроме несчастия. Но эта безвредность моих намерений не спасла меня от подозрений и преследований. Как известно, достаточно хотя один раз возбудить против себя подозрение в политической неблагонадежности для того, чтобы впоследствии администрация уже постоянно глядела на каждый ваш поступок с известным предубеждением. Итак, я снова был арестован, и опять начался для меня ряд несносно долгих дней и ночей то в III Отделении, то в крепости. И на этот раз, как и в 1866 году, я, вследствие одной счастливой случайности, узнал заранее о предстоявшем мне аресте, и поэтому обыск, произведенный в

моей квартире, не дал никаких улик против меня; а потому я мог с полным правом замкнуться в абсолютное молчание и держаться в этой позиции до тех пор, пока мне не были сообщены, наконец, показания моего приятеля, который был менее счастлив и у которого были найдены кое какие компрометирующие бумаги. Такое мое поведение показалось комиссии неодобрительным; в моих ответах были усмотрены злоумышленная скрытность и упорство; объяснения мои были найдены дерзкими и т. д. Вследствие всего этого я был выслан административным порядком в Ставрополь, под собокупный надзор местной полиции, местного жандармского управления и моего отца.

В бумаге, при которой я был прислан в Ставрополь, за мною оставлялось право поступления на государственную службу. Нет надобности перечислять все обстоятельства, почему это право равнялось для меня обязательству. Я поступил в чиновники особых поручений к местному губернатору. Несмотря на всё мое отвращение от чиновничьей карьеры, я постарался отнестись к моей новой, не совсем добровольной, деятельности со всею возможною добросовестностью. Я старался извлечь из моего нового положения все те поучения, которые оно только могло доставить, и принесть на этом непривычном для меня поприще всю ту пользу, которую только допускали окружавшие меня условия и мои собственные силы. Я должен сознаться, что мое положение значительно облегчалось в высшей степени гуманным и деликатным отношением ко мне губернатора, который — из уважения ли к заслугам моего отца, или из личного расположения ко мне — старался сделать всё, чтобы примирить меня с моим вынужденным чиновничеством. Он давал мне только такие поручения, которые не могли поставить меня в печальную необходимость — бороться с самыми дорогими моими убеждениями и в которые я мог внести, без всяких угрызений совести, весь ум, все познания и всё усердие, какие только находились в моем распоряжении. Я полагаю, что он сделал всё, чтобы акклиматизировать меня в этой сфере, и не его вина, если я все-таки продолжал чувствовать в ней только духоту и стеснение. Но, как известно, человек может быть вполне полезным и чувствовать себя вполне спокойным и счастливым только тогда, когда деятельность его соответствует его собственным наклонностям. Поэтому я никак не мог прижиться к моему новому положению, хотя сделал для этого не мало усилий. К тому же я находил свое образование недоконченным, я желал видеть

другие страны, другие условия общественной жизни для того, чтобы лучше проверить и оценить виденное мною дома и вычитанное из книг. Я непременно желал видеть Америку и порешил, что если мне не дозволят этого законным путем, то я обойдусь и без законного дозволения. Я сообщил об этом намерении одному из своих приятелей в письме, которое было захвачено при обыске, произведенном в его квартире при самом начале так-назыв. Нечаевского дела. Кроме изложения моего намерения уехать в Америку, — как только это можно будет устроить, не подвергая ответственности моего отца и губернатора, — в этом письме заключался еще критический разбор некоторых из последних правительственных мер, а также полусерьезное, полуюмористическое описание местной общественной жизни. Следственная комиссия по Нечаевскому делу нашла нужным арестовать меня за это письмо, и вот я в третий раз попал в тюрьму за намерения, не заключавшие в себе решительно ничего вредного для правительства или для общества.

Я опять-таки попрошу Вас поверить мне, когда я скажу, что я не принимал ни малейшего участия в так-наз. Нечаевском деле или, лучше сказать, что участие мое в нем было только *отрицательное*, т.-е. что мне принадлежала самая резкая критика присланных мне произведений Нечаевского кружка. Если бы я мог знать во время моего ареста, что дело это пойдет обыкновенным судебным порядком, то, будучи вполне уверен в своем оправдании, я, конечно, подождал бы законного исхода этого дела. Но, если Вы припомните, первоначальное следствие было поручено сначала жандармскому корпусу; первые допросы мне были произведены тоже в местном жандармском управлении; а я был слишком хорошо знаком из предыдущих опытов со строгою обстановкою, продолжительностью и обстоятельностью жандармского следствия — для того, чтобы отважиться еще раз подвергнуться этому испытанию; поэтому через месяц я бежал со ставропольской гауптвахты и, после разных приключений, благополучно перебрался через русскую границу.

Очутившись за границею, я и там сразу поставил себя совершенно независимо и вне общепринятой эмигрантской рутины. Я, правда, побывал в Женеве и перезнакомился со всеми русскими эмигрантами, но не остался жить с ними. Уже одно простое приличие должно удержать меня в настоящую минуту от изложения здесь моих мнений по отношению к большинству этих людей, так как в моем настоящем положении мой критический отзыв о них мог бы быть

заподозрен в неискренности и даже быть принят за простую уловку с целью облегчить мою собственную участь. Поэтому скажу просто, что общество женевских эмигрантов не показалось мне ни особенно поучительным, ни особенно приятным. Мои критические наклонности и сравнительно чересчур трезвый взгляд на разные явления общественной жизни, повидимому, тоже произвели не особенно выгодное впечатление на моих новых знакомцев, так что я не нашел нужным оставаться в Женеве долее двух недель. Большую же часть своего пребывания за границей я провел частью в Париже, частью в Лондоне, где продолжал жить тем же самым, как и в России, т.-е. литературной поденщиной, употребляя часы досуга на изучение рабочего движения и других интересных явлений иностранной общественной жизни.

Во время пребывания моего в Лондоне я сошелся там с некиим Карлом Марксом, одним из замечательнейших писателей по части политической экономии и одним из наиболее разносторонне образованных людей в целой Европе. Лет пять тому назад этот человек вздумал выучиться русскому языку; а выучившись русскому языку, он случайно натолкнулся на примечания Чернышевского к известному трактату Милля и на некоторые другие статьи того же автора. Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы, и т. д., и т. д. Хотя я и прежде относился с большим уважением к трудам Чернышевского по политической экономии, но моя эрудиция по этому предмету была не достаточно обширна, чтобы отличить в его творениях мысли, принадлежащие лично ему, от идей, позаимствованных им у других авторов. Понятно, что такой отзыв со стороны столь компетентного судьи мог только увеличить мое уважение к этому писателю. Когда же я сопоставил этот отзыв о Чернышевском, как писателе, с теми отзывами о высоком благородстве и самоотверженности

его личного характера, которые мне случалось слышать прежде от людей, близко знавших этого человека и никогда не могших говорить о нем без глубокого душевного волнения, то у меня явилось жгучее желание попытаться возвратить миру этого великого публициста и гражданина, которым, по словам того же Маркса, должна бы гордиться Россия. Мне казалось нестерпимою мысль, что один из лучших граждан России, один из замечательнейших мыслителей своего времени, человек, по справедливости принадлежащий к Пантеону русской славы, влачит бесплодное, жалкое и мучительное существование, похороненный в какой-то сибирской трущобе. Клянусь, что тогда, как и теперь, я бы охотно и не медля ни минуты поменялся с ним местами, если бы только это было возможно и если бы я мог возвратить этою жертвою делу отечественного прогресса одного из его влиятельнейших деятелей; я бы сделал это, не колеблясь ни минуты и с такою же радостной готовностью, с какою рядовой солдат бросается вперед, чтобы заслонить собственной грудью любимого генерала. Но это был неосуществимый романтический бред. А между тем в ту пору мне казалось, что есть другой, более практичный и удобоисполнимый способ помочь этому человеку. Судя по моему собственному опыту в подобных обстоятельствах, а также и по некоторым другим известным мне случаям, я полагал тогда, что в этом предприятии не было ничего существенно невозможного; требовалась только некоторая доза смелой предприимчивости да немножко денег. Вследствие этого я вскоре письменно обратился за содействием к двум из моих личных петербургских друзей, которые и предложили мне взять у них нужную мне сумму, обязавшись принять ее от меня обратно, в случае удачи, и совершенно забыть о ней, в случае неудачи. Когда же я проезжал через Петербург, то еще трое из моих тамошних приятелей дополнили немного эту сумму, простиравшуюся в целом до 1085 рублей. Я пускаюсь в такие подробности по этому предмету для того, чтобы показать, что тут не было никакого заговора, никакого *общества*, никакой организации, ничего, кроме единичной попытки со стороны одного чересчур предприимчивого и излишне самоуверенного безумца; полученные мною деньги, несмотря на сочувствие давших их лиц к печальной участи Чернышевского, никогда не были бы употреблены на это дело без моей просьбы; они были предложены мне только вследствие моей собственной просьбы и на основании личного доверия ко мне. Люди, давшие их, не пожелали принять

никакого другого участия в этом деле и не оставили за собою даже права контроля над врученною мне суммою, предоставив мне распоряжаться ею по моим собственным соображениям и без всякого отчета перед кем бы то ни было. Позвольте мне надеяться, что Вы поверите моему честному слову, что дело происходило именно так, а не иначе. Мне это важно потому, что местная администрация могла подозревать, не без некоторой основательности, что я был, так сказать, только *один из многих,* как бы представитель или агент целого, более или менее, многочисленного общества. А такое понимание моей несчастной попытки, допускающее возможность повторения ее в будущем со стороны еще когольбо другого, должно было непременно послужить одним из поводов к принятию тех стеснительных мер, которыми незаслуженно обставлен этот несчастный страдалец (без всякой с его собственной стороны вины) даже и теперь, т.-е. после окончания им более чем законного срока каторжных работ. Но клянусь Вам, что дело было вовсе не так и что, кроме меня, во всей этой истории не участвовала ни одна живая душа; только деньги принадлежали не мне, да и те были добыты мною же от людей, которым, в противном случае, никогда не пришло бы на мысль употребить их таким образом.

Уезжая из Лондона, я даже не сказал, куда я еду, никому, кроме этих пяти человек, с которыми я списался ранее и от которых я взял деньги, да еще Элпидину в Женеве, которому мое намерение было известно ранее, вследствие некоторых случайных обстоятельств, о которых не стоит распространяться. Я не сказал о своей затее даже Марксу, несмотря на всю мою близость с ним и на всю мою любовь и уважение к этому человеку, так как я был уверен, что он сочтет ее сумасшествием и будет отговаривать меня от нее, а я не люблю отступать от раз задуманного мною дела.

Не будучи знаком ни с родственниками, ни со старыми друзьями Чернышевского по „Современнику“, я не знал даже, где он именно находится. Не имея никаких знакомых в Сибири, ни даже рекомендательных писем, я вынужден был прожить в Иркутске почти целый месяц, прежде чем узнал, что мне было нужно. Это долговременное проживательство в Иркутске, в связи с некоторыми другими моими промахами, а также и с некоторыми независившими от меня обстоятельствами, обратили на меня внимание местной администрации. Еще более содействовала моей неудаче, если я

не ошибаюсь, нескромность Элпидина, который проврался об моем отъезде сюда одному из правительственных сыщиков, проживавшему в Женеве. Как бы то ни было, но я был арестован и очутился в тюрьме в четвертый раз. Видя, что предприятие мое сорвалось, что мне лично угрожает не особенно приятная перспектива, а также замечая, что суд затягивается в долгий ящик, в ожидании от меня известных признаний, которых я не считал себя в праве сделать, — я решился бежать [1]), но потерпел фиаско и должен был познакомиться с иркутским острогом.

Я обещал Вам быть откровенным только по отношению к тому, что касается до меня лично, так как я не считаю себя в праве говорить о таких вещах, которые имеют прямое или косвенное отношение до других людей. Поэтому Вам может показаться странным, что я решился теперь рассказать откровенно истинную цель моего приезда сюда, о которой до сих пор я молчал так упорно из опасения еще более ухудшить моими признаниями судьбу Чернышевского, которая и без того достаточно плачевна. Но во время семимесячного пребывания моего в Иркутске я убедился, что сдержанность моя едва ли повела к чему-нибудь путному. По крайней мере, я заметил, что, за исключением только меня самого, чуть ли не все известные мне лица говорят о цели моего прибытия сюда с полнейшею уверенностью. Я даже думаю в настоящую минуту, что моя сдержанность принесла Чернышевскому более вреда, чем пользы, так как из моего упорного запирательства местные власти могли вывести заключение, будто бы у меня было *что* скрывать, кроме моего приезда сюда с известною целью. Могу уверить Вас честью, что эта мысль о вреде, принесенном мною тому человеку, за которого я охотно готов был бы рискнуть собственною жизнью, была самым тяжким наказанием и самым мучительным испытанием изо всех тех невзгод, которые я вынес и выношу еще теперь, как последствия моей неудачной затеи. Итак, сообразив всё это, я подумал, что полная откровенность с Вами касательно бывших моих намерений может послужить скорее в пользу, чем во вред Чернышевскому. По крайней мере, из моего рассказа, в искренности и добросовестности которого Вы, я надеюсь, не усумнитесь, — Вы узнаете дело так, как оно было в действительности. Вы увидите, что это была просто единичная сумасбродная по-

[1]) Первый побег из Иркутска — 3 июня 1871 г.; Лопатин был тотчас задержан.

пытка, не опиравшаяся ни на какое общество, ни на какую организацию, ни на какую поддержку извне. Быть-может, узнав, что не существует никакого общества, имеющего целью освобождение Чернышевского, зная также, что я, вследствие всего случившегося со мною, поставлен в совершенную невозможность повторить еще раз свою попытку, и, наконец, приняв в соображение, что едва ли вероятно, чтобы нашелся еще другой такой же сумасброд, который,— после всех неудач, потерпенных его предшественниками,— решился бы пуститься вновь на такое рискованное и безнадежное дело, — Вы, может-быть, найдете возможным дать более воли своей природной сострадательности и великодушию (столь законным в этом случае) и облегчить, хотя до некоторой степени, суровую строгость обстановки, окружающей этого глубоко несчастного человека, которому самое правительство, самые политические враги его не могут отказать в уважении.

Мне нет надобности распространяться о том, ка́к и на каких условиях я вышел из острога, так как это Вам известно, по меньшей мере, так же хорошо, как и мне. Но я не могу не коснуться этого обстоятельства, хотя в той мере, в какой это необходимо, чтобы решить вопрос о том, насколько справедливо рассматривать мой побег [1]) из Иркутска, как нарушение честного слова. Когда бывший полицеймейстер, полк. Бориславский, спросил меня, — даю ли я ему честное слово, что я не подведу его, если он возьмется хлопотать у Вас об освобождении меня из тюрьмы, — я отвечал ему сначала, что я предпочел бы менее романтические гарантии, как, например, денежный залог или поручительство. Но он стоял на своем. Тогда, сообразив, что он не рассчитывает пробыть долго на этом месте, я решился связать себя честным словом *по отношению к нему*. Впоследствии, когда полк. Дувинг хотел заставить меня повторить это честное слово и перед ним, я отказался от этого и сказал уклончиво: „я уже дал честное слово полк. Бориславскому в том, что я не захочу подвести *его* за его любезность. Чего же Вы еще хотите от меня?“. Ту же самую фразу, и приблизительно в той же самой форме, я повторил и в вашем кабинете. Конечно, можно сказать, что, желая избежать долговременного обязательства на честное слово, я прибегнул к увертке, к

---

[1]) Лопатин далее говорит о своем втором побеге из Иркутска— 7 августа 1872 г.; через месяц (6 сентября) он был снова задержан в Томске.

хитрости, к двусмысленному выражению. Mais à la guerre — comme à la guerre, и я могу сказать, что эта уловка была ничуть не хуже и не лучше тысячи подобных двусмысленных обязательств, к которым прибегали в разные времена воюющие партии, нисколько не подвергая себя этим упреку в бесчестности. Итак, я считал себя связанным формальным честным словом только по отношению к полк. Бориславскому. Но когда я узнал частным образом о содержании бумаги шефа жандармов; когда я узнал, что я обязан своим освобождением не хлопотам полк. Бориславского, а Вашей доброй воле, — я почувствовал себя связанным по отношению к Вам, если не формальным обязательством на честное слово, то узами обыкновенной благодарности. Не скажу, чтобы это открытие было мне приятно, так как оно, запрещая мне всякую попытку к завоеванию себе свободы собственными усилиями, отсрочивало мое освобождение на неопределенное время, заставляя меня в ожидании его питаться одними только шаткими надеждами и мечтами, не имеющими никакой реальной точки опоры. Но я покорился тому, что я считал своим нравственным долгом, и жил смирно, день за днем, волнуясь ожиданиями и сгорая от нетерпения. Ради бога, не думайте, что мне было легко! Я никак не мог приучить себя смотреть на Иркутск иначе, как на большую тюрьму, как на нечто вроде той „дворянской“, в которой я содержусь в настоящую минуту. Почти всю свою молодость я провел в центрах общественной жизни. Я привык вращаться в кругу людей науки и мысли; я привык к библиотекам, новым книгам, свежим журналам и газетам; я привык толкаться в самом водовороте умственной и политической деятельности; я привык к жизни, полной сильных, ярких впечатлений, наполняющих и ум и сердце до того, что в них не остается, кажется, ни одного свободного уголка; — после всего этого бесцветное и вялое существование в Иркутске сводило меня с ума и казалось мне простым продолжением тюремной жизни. Прежде, проживая временами в провинции, то добровольно, то поневоле, я старался употреблять это время на то, чтобы обогатить себя новыми познаниями, которые могли бы мне пригодиться в будущем: я ездил туда и сюда, наблюдал местную природу и местное население, записывал, сравнивал, изучал, скоплял материалы для будущих работ. А здесь я был лишен даже и этого здорового развлечения запрещением отлучаться из города куда бы то ни было. Мне было отказано, например, даже в такой невинной просьбе, как разрешение про-

водить полк. Бельцова до Посольска, под его личною ответственностью! Затем тот труд, которым я должен был поддерживать здесь свое существование, не представлял для меня ничего симпатичного. При этом даже с материальной стороны (которой, впрочем, я придаю наименее значения) положение мое было довольно жалкое. Всё утро я должен был возиться с сухими учеными реестрами из-за каких-нибудь 20 р. в месяц. Но так как подобных денег недостаточно здесь для удовлетворения даже самых скромных потребностей, то я должен был посвящать свои после-обеда на давание скучнейших уроков. Труд целого дня за какие-нибудь 40 р. в месяц! 40 р., которых в Иркутске едва хватает на удовлетворение первых нужд человека даже с такими невзыскательными и умеренными требованиями от жизни, как я. Конечно, у меня были так-назыв. *свои* деньги, но вы знаете теперь их происхождение, а потому поймете, что я не считал себя в праве употреблять их на свои нужды. В Петербурге и за границей я зарабатывал от 100 и 150 до 200 руб. в месяц; и это там, где целая масса самых интенсивных и живых впечатлений предлагается вам жизнью совершенно задаром! Наконец, чтение газет, беспрерывные известия о жизни (*настоящей* жизни) и деятельности людей, которые когда-то были моими друзьями, составляло для меня источник неисчислимых волнений и заставляло меня рваться из Иркутска всеми силами души. Но, повинуясь указаниям долга, я продолжал жить здесь и ждал (хотя и не особенно терпеливо), когда шефу жандармов угодно будет высказаться насчет моей дальнейшей участи.

Вы уехали. Через несколько дней после того я получил частным образом сведения, что дело мое вовсе не будет окончено административным порядком, как я, было, рассчитывал, но что мне снова угрожает *суд*, и притом по такому делу, которое я считал уже поконченным. Этого мало. Разбирательство этого дела было поручено именно иркутскому суду, вледствие чего, при здешних формах судопроизводства, я должен был рассчитывать на окончание его для меня лишением особенных прав и ссылкою на житье в Якутскую область. Кроме того, было поднято судебным порядком известное грязное дело о сулеме [1]). Конечно, я вполне был уверен, что это последнее дело должно окон-

---

[1]) По доносу одного арестанта, Лопатин был обвинен в хранении сулемы в тюремной камере с целью отравить тюремного надзирателя и караульных солдат. Донос, конечно, оказался ложным.

читься для меня полным оправданием; но до тех пор, пока оно находилось бы в суде, к нему, как к наиболее важному, всегда можно было присовокупить и следствие по ставропольскому делу; а в этом-то и заключалась для меня вся важность, так как для меня весьма существенно было иметь право перенести мои дела в Ставрополь, где в настоящее время введены уже новые формы судопроизводства. Наконец, как я слышал, в среде местной администрации был поднят даже вопрос о надобности или ненадобности моего вторичного заарестования. Спрашивается теперь: что мне предстояло предпринять в подобных обстоятельствах? Жизнь дается человеку только однажды, и я не мог и не желал помириться с открывавшейся передо мною перспективою. Я не чувствовал себя в силах освоиться с мыслью—провести несколько самых лучших лет молодой жизни где-нибудь в Якутской области, без всякой определенной надежды на скорую и благоприятную перемену в моей судьбе. Вас не было, и я не мог обратиться к Вам за разрешением вопроса, — чего я должен ожидать для себя? Вас не было, и я не мог знать, — захочет ли Ваш преемник отнестись ко мне с тою же благожелательностью, с какою отнеслись вы. Вас не было, и в городе ходили упорные слухи, что вы не вернетесь, так как Вам угодно было принять другое назначение. Вас не было, и потому никакой мой поступок, как мне казалось, не мог причинить никакой неприятности непосредственно для Вас; — все эти соображения, взятые вместе, заставили меня решиться поступить именно так, как я поступил; и кто на моем месте сделал бы иначе? Быть может, я поступил неблагоразумно, неверно оценив истинное положение моего дела, но я отказываюсь признать, чтобы я поступил *нечестно*. А в этом для меня — всё.

Я распространился так подробно относительно мотивов, побудивших меня к побегу, потому, что мне было бы жаль, если бы Вы продолжали думать, что я поступил в данном случае недобросовестно. Обыкновенно я довольствуюсь судом моей собственной совести и очень мало забочусь о том, как смотрит на мои поступки „начальство“. Какой-нибудь год тому назад я не дал бы себе труд оправдывать свое поведение в ваших глазах, так как я видел тогда в Вас только одного из представителей власти. Но в настоящую минуту я не в состоянии отнестись равнодушно к Вашему мнению обо мне. Когда, во время моего путешествия по Ангаре, мне привелось столкнуться поближе с здешним простонародьем; когда мне довелось потолковать

с разношерстными представителями здешнего крестьянского сословия о старых и новых временах и о результатах многих предпринятых Вами общих мер; когда, отдалившись от Иркутска, я получил возможность взглянуть на Вашу деятельность глазами заинтересованных в ней лиц, а не сквозь призму мнений оппозиционного мелкого чиновничества, раздраженного новыми порядками и пустившегося в бессильное, беззубое будированье, — я не мог не увидеть в этой деятельности резко-выраженного желания служить интересам *масс,* — т.-е. тем интересам, которые всегда стоят для меня на первом плане, — и не мог не почувствовать к этой деятельности того уважения, которого она заслуживает. Я не настолько рутинер чистой „либеральной" доктрины, чтобы отрицать пользу и значение известных мероприятий только потому, что инициатива их исходит от одного из представителей власти, от человека, принадлежащего к другой партии и исповедующего другие политические взгляды и убеждения, чем я. Это уважение, возбужденное во мне личным наблюдением Ваших усилий в известном направлении и результатов Вашей деятельности, не дозволяет мне более относиться индифферентно к Вашему доброму мнению обо мне. Наконец, то человечное участие, с которым Вам угодно было отнестись в последнее время к моему положению, также пробуждает во мне желание доказать, что я не совсем недостоин этого участия. Вследствие всего этого я решился попытаться оправдать в Ваших глазах мое поведение в деле моего побега из Иркутска, объяснив со всею подробностью мои побудительные мотивы к тому и соображения, так как, повторяю, мне было бы крайне прискорбно, если бы Вы подумали, что я могу прибегнуть, — хотя бы даже ради самых дорогих моих интересов, — к поступку сомнительной честности.

Я полагаю, что я могу избавить себя от труда рассказывать, каким образом первый успех, и притом самой трудной части моего предприятия, до того вскружил мне голову и настолько раздул мою самоуверенность, что я бросил все предосторожности и не позаботился даже изменить хотя немного свою наружность [1]), и каким образом я, вследствие этого, принужден был вторично познакомиться с иркутским острогом и испытать в пятый раз все прелести продолжительного тюремного заключения!

---

[1]) Об аресте Лопатина в Томске интересные подробности сообщает П. Л. Лавров.—См. его очерк „Г. А. Лопатин", Петр. 1919, с. 36—38.

Окончив это краткое изложение моих столкновений с администрацией и законом, я перехожу теперь к главной цели этого письма, т.-е. к изложению того, чего я ожидаю от Вашего участия. После всего того, что сказано мною выше о моем прошлом, о моем личном характере и руководящих принципах, было бы бесполезно говорить, что я *не ищу ни милости, ни даже снисхождения*. Всякая милость, всякое снисхождение налагают на человека известные нравственные обязательства, которые он не всегда бывает в состоянии выполнить, что приводит его необходимым образом к тяжелой борьбе с самим собою, а такое душевное состояние не заключает в себе ничего привлекательного. Но, и помимо милости или снисхождения, Ваше Высокопревосходительство имеете полную возможность повлиять очень сильно на изменение к лучшему моего настоящего положения, не сходя для этого ни на один шаг с почвы закона. Из прилагаемой здесь докладной записки на имя Вашего Высокопревосходительства Вы увидите, чего я желаю, и в то же время убедитесь, что просьба моя не выходит из тесных пределов строго законного возможного и исполнимого. Если Вам угодно будет спросить по этому поводу мнения лиц, обладающих специальными юридическими познаниями и хорошо знакомых практически с судопроизводством, то они наверное подтвердят Вам, что мои требования строго легальны и что администрация не имеет никакого права, никакого законного основания противиться перенесению моих дел в тот суд, которому они в действительности подсудны. Если я до сих пор не подымал этого вопроса о подсудности и если я не воспользовался до самой настоящей минуты испрошенным у Вас дозволением обратиться к Вам с докладною запискою [1]) по моему делу, то это только потому, что я ждал предварительного окончания в здешнем губернском суде дела о сулеме, так как, пока это дело находилось еще в производстве, существовал *формальный* предлог (если не право) для присовокупления к нему всех остальных моих дел. Но теперь, когда дело это уже окончено и когда мне уже объявлен по нему окончательный приговор суда, не существует более никаких законных оснований настаивать далее на разбирательстве моих дел здесь и отказывать мне в перенесении их в то судебное ведомство, которому они действительно подсудны. Таким образом, как вы видите, я вовсе не желаю злоупотреблять

---

[1]) См. приложение к письму.

Вашим участием и не прошу ничего, кроме применения ко мне действующих в империи законов, которые должны быть одинаковы для всех без различия. Я надеюсь, что желание, выраженное мною в моей докладной записке, так скромно, что Ваше Высокопревосходительство едва ли встретит какие-либо препятствия к его удовлетворению.

Прочитав всё написанное мною до сих пор, Вы, может-быть, найдете, что я обошел молчанием еще один важный пункт; между тем как, вызывая меня на это объяснение, Вы пожелали, чтобы я высказался опрецелительно и по этому пункту; Вы, может-быть, найдете, что, рассказав с полною откровенностью свое прошедшее и объяснив, чего я ожидаю в настоящую минуту от Вашего участия, я не коснулся ни одним словом моих видов на будущее, т.-е. не сказал ни слова о том, чего может ожидать от меня правительство, если-бы, вследствие ходатайства Вашего, дело мое было передано в Ставрополь и если-бы мне удалось оправдаться и стать снова свободным и полноправным гражданином своего отечества. Есть три причины, вследствие которых я предпочел совсем не касаться этого пункта. *Во-первых,* после всего вышеизложенного ответ на вопрос о моем будущем мне кажется совершенно излишним. Мне кажется, что мое прошедшее изложено мною достаточно подробно, чтобы дать возможность сделать из него выводы и по отношению к моему будущему. Во всем этом прошедшем Ваше Высокопревосходительство увидите одно господствующее стремление, одно страстное и неизменное желание — служить всеми моими силами материальным, умственным и нравственным интересам бедной, темной, невежественной и приниженной народной массы. Такие стремления, если они искренни и представляют плод сознательного убеждения, не изменяются с течением жизни. Но я полагаю, что в этом отношении я не слишком далеко расхожусь с правительством, так как ни один добросовестный человек, к какой бы партии он ни принадлежал, не отвергнет того, что те же самые стремления, та же струя проходят через все реформы настоящего царствования. Я не могу и не хочу отрицать, чтобы в своих желаниях я не забегал всегда гораздо далее того, чем шло наше правительство, но я всегда имел достаточно здравого смысла, чтобы не верить в возможность исполнения моих желаний при помощи каких бы то ни было насильственных попыток со стороны какой-нибудь горсти людей, думающих одинаково со мною. Ваше Высокопревосходительство поймете сами, что испытания, перенесенные мною до сих пор, должны были

скорее способствовать к укреплению этого скептицизма по отношению ко всему, что сколько-нибудь отзывается заговором и насилием, чем к утверждению во мне противоположного образа мыслей. Один раз в жизни, —именно в деле моего приезда сюда,— я попробовал вступить в тайную борьбу с законом и властью, считая ее возможною в предприятии столь частного характера, но даже и тут я потерпел неудачу. Я не буду говорить, что я не видел в моем намерении никакого вреда для общества, что, напротив того, я рассматривал эту попытку возвратить делу отечественного прогресса одного из его наиболее сильных, наиболее честных и преданных деятелей, как предприятие существенно патриотическое; я не буду говорить, что я смотрел бы на удачу в моей попытке, как на услугу с моей стороны самому правительству, так как такая удача избавила бы его от упрека потомства в том, что оно позволило погибнуть до конца одному из самых талантливых русских людей, одному из самых честных, бескорыстных и самоотверженных граждан России, одному из самых горячих сердец, которые бились когда-либо любовью к своей родине; я не скажу всего этого, так как я не могу ожидать, чтобы правительство согласилось в этом со мною, но я скажу только, что я потерпел неудачу и что обстоятельства сложились так, что с этой стороны от меня нечего опасаться в будущем.—Всё это во-первых.— *Во-вторых*, если после всего вышеизложенного я нахожу излишним всякое дальнейшее выяснение *общих* принципов, которыми я намерен руководствоваться в моей будущей жизни, то всякое ручательство за мое будущее поведение в *частностях* я нахожу совершенно невозможным. Дело в том, что если бы я даже и согласился дать Вам какие-нибудь обещания в этом направлении, то, при всем желании моем действовать добросовестно, я обманул бы и себя и вас. Я полагаю, что поведение человека есть равнодействующая всех влияний, действующих на него в каждый данный момент, а потому, вследствие крайней сложности и изменчивости этих влияний, оно никак не может быть предсказано вперед; поэтому всякое ручательство за будущее есть умышленный или неумышленный обман по отношению к себе и к другим. Наконец, *в-третьих*, Вы позволите мне сказать, что все подобные ручательства за будущее я считаю неприличными для себя в моем настоящем положении. Я прошу Ваше Высокопревосходительство вспомнить, что я нахожусь в тюрьме, а поэтому все мои обещания по отношению к будущему имеют характер вынужденности и могут быть заподо-

зрены в неискренности. Мое уважение к самому себе и чувство собственного достоинства не дозволяют мне подавать поводов думать, будто бы я желаю выпутаться из моего настоящего тяжелого положения при помощи льстивых уверений в безусловной преданности моей правительству или легкомысленных и лживых обещаний по отношению к моему поведению в будущем.—В силу всего этого, я не могу принудить себя выразить какие бы то ни было обязательства по отношению к моему будущему, хотя я хорошо понимаю ту пользу, которая могла бы произойти из этого для меня.

Оканчивая этот краткий очерк моих прошедших испытаний и моих настоящих желаний, я осмеливаюсь выразить надежду, что, как бы Вы ни отнеслись к моему письму, Вы никогда не заподозрите ни искренности его тона, ни добросовестности в изложении рассказанных в нем фактов.—В заключение мне остается только извиниться перед Вашим Высокопревосходительством в том, что для моего личного единичного дела я отнял у Вас так много времени, необходимого Вам для других дел, имеющих более общий интерес. Я могу сказать в свое оправдание только то, что я старался быть настолько кратким, насколько это было возможно без ущерба для ясности изложения.

Я надеюсь, что мое настоящее письмо есть само по себе такое ясное свидетельство моего уважения к Вам, что я могу избавить себя от труда выдумыванья банальных почтительных фраз, помещаемых обыкновенно в конце официальных писем, но ограничиться просто подписанием своего имени

Герман Лопатин.

15 февраля 1873 года.

Его Высокопревосходительству Господину Генерал-губернатору Восточной Сибири.

Содержащегося в Иркутском тюремном замке отставного коллежского секретаря, Германа Лопатина

Докладная записка.

На основании действующих законов, всякое преступление расследуется в той местности, где оно совершено, а виновник его судится в том судебном месте, ведомству которого принадлежит данная местность. Если при этом подсудимый скроется и затем будет пойман и привлечен в

другом месте, то он высылается для следствия и суда обратно на место совершения им преступления. Причины, вызвавшие такое постановление закона, весьма понятны. В интересе закона лежит всестороннее расследование преступления, т.-е. точное выяснение как всех обстоятельств дела, так и всех прямо или косвенно участвовавших в нем лиц, а подобное полное и всестороннее расследование возможно только на месте самого совершения преступления. Кроме того, если бы виновный, схваченный иногда за несколько тысяч верст от места совершения им преступления, должен был дожидаться расследования дела, проверки данных им показаний и разъяснений, могущих возникнуть противоречий—при посредстве почтовых сношений, то, в этом случае, дело необходимо должно бы было затянуться на чрезвычайно долгое время, причем предварительный арест и тюремное заключение,—продолженные значительно долее срока, необходимого для расследования дела на месте,—превратились бы, в случае его действительной виновности, в дополнительное наказание, не имеешееся в виду законом, а в случае его невинности—в настоящее истязание, не оправдываемое ни малейшей необходимостью.

Если подсудимый, скрывшись из-под следствия, совершит, в продолжение своего укрывательства от суда, еще и другие преступные деяния, в различных местностях государства, то, в этом случае, при определении подсудности, закон руководствуется двумя принципами, которые я мог бы назвать принципом хронологическим и принципом криминальной градации.—В случае приблизительно одинаковой важности преступлений, совершенных одним и тем же лицом в разных местах, обо всех этих преступлениях производятся следствия в тех местах, где они совершены, и эти следствия вместе с самим виновным пересылаются в то судебное место, где производилось первоначальное дело и откуда виновный скрылся.—Если же совершенные известным лицом преступления, представляют неодинаковую важность, то в таком случае это лицо судится в том судебном месте, в округе которого совершено наиболее важное преступление; что же касается до первоначального дела, а равно и до других менее важных дел, то следствия по всем этим делам, по окончании их, пересылаются в судебное место того округа, где совершено наиболее важное преступление; причем постановляется над виновным приговор по совокупности преступлений.—Не получивший специально-юридического образования и не знакомый практически с судопроизводством, к

тому же находясь в настоящее время в тюрьме и не имея под руками свода законов, я не могу указать точных номеров статей закона, подтверждающих изложенный мною порядок определения подсудности, но уже простой здравый смысл показывает, что этот порядок есть единственно-разумный, единственно-справедливый и возможный, а потому единственно-законный.

Переходя от этого теоретического рассуждения к моим личным делам, я должен сказать следующее:

До тех пор, пока мой приезд в Сибирь возбуждал некоторые подозрения, имеющие связь с участью некоторых из осужденных государственных преступников; до тех пор, пока бо̀льшая или меньшая степень основательности этих подозрений не была выяснена следствием и судом; до тех пор, пока производившееся обо мне в Иркутске дело оказывалось, вследствие своего политического характера, несравненно более важным, чем остальные мои дела, представляющие собою лишь простые нарушения паспортной системы и самопроизвольные уклонения от суда и следствия,—до тех пор я не протестовал против разбирательства моих дел в иркутских судебных учреждениях, так как такое разбирательство было вполне законно, хотя во многих отношениях и не совсем выгодно для меня.

Но после того, как законно-утвержденный приговор Иркутск. губ. суда признал все эти подозрения недоказанными; после того, как все дела мои свелись к побегу со Ставропольской гауптвахты и к ряду нарушений паспортной системы, вызванных желанием укрыться от преследований закона,—я нахожу возможным и необходимым поднять вопрос о подсудности, т.-е. об определении того судебного места, разбирательству которого подлежат производящиеся обо мне дела, так как это разъяснение подсудности имеет для меня очень важное практическое значение.

Если оставить в стороне дело об открытии в секретной камере № 1 сулемы,—дело, которое должно окончиться на-днях и в исходе которого я нисколько не сомневаюсь, так как относящиеся сюда факты слишком красноречиво говорят сами за себя,—то у меня окажется только два дела: 1) дело об уходе со Ставропольской гауптвахты и о побеге из Ставрополя при помощи чужих документов и 2) дело об отлучке из Иркутска, из-под полицейского надзора.—Очевидно, что, с точки зрения хронологической последовательности этих дел, они подлежат разбирательству в Ставропольском окружном суде. Но не трудно доказать,

что, и на основании второго принципа, т.-е. принципа криминальной градации, они должны разбираться там же, а не в Иркутске. Последнее из них представляет простую отлучку из-под полицейского надзора, между тем как первое заключает в себе: побег из тюрьмы, пользование чужим документом и противозаконное приобретение этого документа. Если бы даже, в отношении к последнему делу, судебная власть, не доверяя моим объяснениям, и заподозрила меня в желании воспользоваться, в бытность мою в Томске, случайно попавшими в мои руки чужими документами, то во всяком случае первое дело всё-таки остается более важным, так как в нем, кроме *доказанного* пользования чужими документами, заключается еще и противозаконное приобретение этих документов, а также побег из тюрьмы. Таким образом, и с точки зрения хронологической последовательности и с точки зрения криминальной градации, производящиеся в настоящее время обо мне дела подлежат разбирательству Ставроп. окружн. суда, а потому должны быть отправлены вместе со мною в Ставрополь.

Нет надобности говорить, что, возбуждая этот вопрос о подсудности, я руковожусь вовсе не платоническим пристрастием к формалистике судопроизводства, а гораздо более существенными мотивами, а именно: 1) Как известно, в Ставрополе в настоящее время введены в действие Судебные уставы 20 ноября 1864 г., в силу которых судьи руководствуются при определении степени виновности подсудимого не совокупностью т.-н. формальных улик, а своим внутренним убеждением по отношению к существованию в действиях подсудимого т.-н. „злой воли". На этом основании, судясь в Ставрополе, я бы мог рассчитывать на оправдание. 2) Но если бы я даже и был признан виновным, то и в этом случае я был бы сослан только на житье в одну из отдаленнюх губерний России, между тем как здесь, в случае завинения, мне угрожает ссылка в Якутскую область. 3) Наконец, вследствие распространения на Ставропольскую губернию последней судебной реформы, а также и недавно-изданных правил относительно образа действий чинов жандармского корпуса,—исполнение судебных приговоров обставлено там несравненно бо̀льшими гарантиями, чем здесь, где для человека возможно просидеть в секретном заключении целых четыре месяца *после объявления ему окончательного судебного решения,* как это случилось со мною здесь в 1871 году.

В виду всех этих соображений, я не вижу решительно никакой побудительной причины, почему бы мне следовало

отказаться от тех выгод, которые представляет для меня перенесение всех моих дел в Ставрополь, перенесение вполне оправдываемое и даже требуемое существующими постановлениями закона насчет подсудности.

Я знаю, что, на основании законов, мне следовало бы возбудить этот вопрос о подсудности через губернского прокурора. Но, вследствие того политического оттенка, который был придан первому производившемуся здесь обо мне делу, местный прокурорский надзор находит себя некомпетентным в вопросах, относящихся к моим делам, и постоянно отсылает меня за разрешением таких вопросов к представителям высшей администрации в крае.

Вследствие этого, я нахожусь вынужденным обратиться к Вашему Высокопревосходительству и просить вас,—рассмотрев все вышеизложенные мною обстоятельства и соображения и сопоставив их с действующими законами,—сделать зависящее от Вас распоряжение о передаче в ведение Ставропольского окружного суда как меня, так и производящихся здесь обо мне дел, за исключением дела, находящегося в настоящую минуту в Иркутском губернском суде и долженствующего окончиться в самом непродолжительном времени.

Герман Лопатин.

29 января 1873 года."

Искренность письма, его горячий тон и умение Лопатина, вообще, расположить к себе произвели на Синельникова столь сильное впечатление, что заставили ходатайствовать перед III Отделением о смягчении участи Лопатина: „не могу не сознаться,—пишет он шефу жандармов 27 февраля 1873 г.,— что Лопатин возбуждает сочувствие к своей участи,—его твердая честная натура, к сожалению, сбившаяся в направлении еще в юности, пройдя через горький опыт жизни, дает надежду к исправлению, а по уму и образованию можно ожидать и пользы. Я бы желал просить о прекращении дела о побеге его из Иркутска с чужим видом, за что он может быть приговорен к лишению прав состояния, и кроме того, я бы просил о дозволении ему проживать в Иркутске, пользуясь пособием от казны".

Ходатайствуя о Лопатине, Синельников, не без влияния его же письма, просил „облегчить несколько участь Чернышевского, переведя его на жительство в Якутск под особый надзор полиции". Однако, несмотря на горячую просьбу, 10 апреля того же года последовал высочайший отказ:

„Государь не соизволил на прекращение дела Лопатина, предосудительный образ действий которого памятен его величеству“. Относительно же Чернышевского не было никакого ответа, точно о нем и не говорилось в письме.

Итак, несмотря на ходатайство всесильного генерал-губернатора, Лопатин не мог надеяться ни на освобождение, ни на облегчение своей участи. Законные пути все были использованы,—оставалось перейти к незаконным; и Лопатин решился снова прибегнуть к испытанному им уже средству—побегу. 10 июля 1873 г. Г. А. Лопатин в третий раз бежал из Иркутска, из здания окружного суда, где он писал свои показания, и на этот раз удачно. В августе того же года он был уже в Париже.

III.

Произведения Г. А. Лопатина.

Из Иркутска [1]).

„Вы просили меня, м. г., сообщить вам по возможности обстоятельные сведения о том, где и в каком положении находятся в настоящую минуту лица, сосланные разновременно в Сибирь за политические преступления. Право, отвечать на этот вопрос вовсе не так легко, как это вам кажется. Самый беглый взгляд на карту покажет вам, что места заключения ссыльно-каторжных находятся еще очень и очень далеко за нашим благословенным Иркутском; так что желаемые вами сведения никак не могут быть собраны мною на месте, путем личного наблюдения. Приходится обращаться или к лицам, владеющим такими сведениями, по своему оффициальному положению, или к проезжим. Но и в том, и в другом случае, вы наталкиваетесь на одно и тоже обстоятельство, становящееся у нас в России поперек дороги всему хорошему,—на повальное равнодушие, так называемой, образованной публики к вещам подобного рода, ко всем вопросам, выходящим из среды ежедневных мелких личных интересов. Вы сами понимаете, насколько удобно для меня обращаться с известными вопросами прямо к лицам, заведывающим судьбою политических ссыльных. Приходится прибегать к посредникам. Но, увы! люди, которые, по своему общественному положению, могли бы совершенно развязно вступить в самую щекотливую беседу с этими лицами, оказываются людьми, не интересующимися ничем другим, кроме повседневных перемен в служебном

---

[1]) Корреспонденция „Из Иркутска" без подписи автора напечатана во втором томе непериодического издания „Вперед!" (1874), отд. II.—Что делается на родине?, с. 105—115. Принадлежность ее Г. А. Лопатину без всякого сомнения устанавливается на основании ее окончаний, где автор обещается написать „с должною подробностью" о секте „Не наши". Такая корреспонденция и была напечатана в третьем томе „Вперед!" без подписи автора, а в „Современнике" (1911, № 1) с полною подписью Г. А. Лопатина.—Корреспонденция „Из Иркутска" снабжена следующим редакционным примечанием: „В корреспонденции с далекого востока мы можем показать, с какою злобою оно преследует тех из своих жертв, которые уже попались в его руки. Интересные сведения, здесь заключающиеся, дополняют значительно те данные, которые мы сообщили о наших политических ссыльных в предыдущей книге нашего журнала [„Вперед", том I, 1873 г., отд. II, что делается на родине? с 77—78]. Корреспонденция эта очень запоздала в дороге к нам, и, кроме того, она получена была нами как раз в то время, когда ее, уже нельзя было поместить в первую книжку. Поэтому сведения, в ней заключающиеся, относятся к лету 1873 лода".

персонале, колебаний рыночных цен, городских сплетен да своей вечерней партии в „генеральский"... Что же касается до проезжих, то ведь в такие отдаленные места, как Нерчинские заводы, не заглядывает никто, кроме мелких торговцев, для которых не существует никаких государственных и политических преступников, а только одни покупатели, т.-е. крестьяне да поселенцы. Впрочем, все-таки постараюсь, как сумею, передать вам то, что мне удалось собрать по занимающему вас вопросу.

Начинаю с человека, представляющего для вас, конечно, наибольший интерес и как замечательная литературная сила и как человек, имевший несомненное влияние на развитие общественной мысли в течение многих лет сряду,—я говорю о Чернышевском. С грустью должен сказать вам, что неизгладимая симпатия, оставленная Чернышевским в сердцах всех порядочных людей, сколько-нибудь знавших его, и тот неоспоримый авторитет, который его ум, знания, честность и всегдашняя верность своим основным принципам завоевали ему в кругу нашей передовой молодежи, составили истинное несчастие целой его жизни, преследующее его и до настоящей минуты. Бесконечные разговоры, слышавшиеся непрерывно во всевозможных либеральных кружках, относительно необходимости устроить освобождение Чернышевского насильственным образом, разговоры, ни разу не переходившие за пределы обыкновенной либеральной болтовни, сделали то, что правительство не переставало обращать на Чернышевского самое бдительное внимание и употреблять по отношению к нему такие меры строгости, которые не употреблялись ни с одним из политических и уголовных ссыльных, находящихся в настоящее время в Сибири. Так как сторона наша глухая, никаких протестов и даже заявлений у нас и слыхом не слыхать, то, поэтому, начальство не церемонилось принимать по отношению к Чернышевскому даже такие меры, которые представляли вопиющее нарушение собственных постановлений правительства относительно ссыльных. Так, напр.: 1) Чернышевский был осужден на работы в *заводах*, а между тем, за исключением кратковременного пребывания в Усольском солеварном заводе, он провел все время своей каторги в *рудниках*, находящихся, как известно, в местности несравненно более отдаленной и глухой и состоящих под более суровым режимом. 2) По уставу о ссыльных, каторжные содержатся в заводском остроге (в казармах) только четвертую часть своего срока, пока они считаются в так-называемом „разряде испытуемых"; остальные три чет-

верти своего срока они живут около завода на вольных квартирах и только обязаны являться ежедневно в завод для отбывания своего урока. Обыкновенно же пребывание в разряде испытуемых бывает гораздо короче указанного в законе срока. В Усолье, напр., женатые с самого начала размещаются по квартирам, а холостые содержатся в казармах только до тех пор, пока приобретут средства нанять себе вольную квартиру. К Чернышевскому не было применено это постановление закона, и он все время своей каторги не выходил из-под замка́. 3) На основании того же устава о ссыльных, в каторге принято считать каждые десять месяцев за год. Эта льгота применяется даже к самым страшным уголовным преступникам. К Чернышевскому она никогда не была применена, и он отжил в каторге все свои 8 лет сполна. Этого мало. Как говорят, он был задержан там даже несколькими месяцами долее своего законного срока, в ожидании окончания следствия по делу некоего Лопатина, арестованного у нас в Иркутске и заподозренного в намерении устроить освобождение Чернышевского. Таким образом вы видите, что во всё время пребывания своего на каторге Чернышевский постоянно расплачивался за чужие грехи и за симпатии, пробужденные им в среде русского общества (с позволения сказать).—Но пребывание на каторге было, сравнительно говоря, еще лучшею половиною подневольной жизни Чернышевского. Как ни грустно сказать это, но это правда. Из поселения, представляющего для каторжного громадное облегчение и переход к прежнему вольному состоянию, правительство ухитрилось сделать для Чернышевского такой подарок, который будет похуже всякой каторги. Вы уже знаете, конечно, что Чернышевский переведен в Вилюйск, называющийся городом, но представляющий на самом деле обыкновеннейший небольшой якутский улус, лежащий к с.-з. от Якутска, на расстоянии около 950 верст. Впрочем, расстояние это выведено из приблизительных расчетов разных проезжих, и сюда как нельзя более применима поговорка: „мерила старуха клюкой, да махнула рукой“. Переезд Чернышевского из Нерчинских заводов в Вилюйск совершился со всевозможной помпой, т.-е. его сопровождали жандармский штабс-капитан Зейферт, вахмистр иркутской жандармской команды и два жандармских унтер-офицера наблюдательного состава. Были приняты все меры, чтобы с ним не только никто не мог заговорить где-нибудь на станции, но чтобы даже на него не мог упасть ни один нескромный взгляд. У нас ходило не мало анекдотов о по-

двигах Зейферта в этом направлении; но так как они граничат с мифами, то я их и опускаю. На краю Вилюйска (а по уверению некоторых, в окрестностях его, и притом далеко от города) построен несколько лет тому назад небольшой острожек или домик,—называйте, как хотите,—в котором были поселены Дваржачек и Огрызко [1]). Дваржачек впоследствии умер, а Огрызко был переведен в Якутск, где он живет и до настоящей минуты. Вот этот-то острожек и избран для житья Чернышевскому. Живучи тут, он, конечно, не раз вспоминал с сожалением о прошедшей каторге, где он жил в большой тюрьме, предназначенной исключительно для политических преступников. Положим, и там правительство сочло нужным отделить Чернышевского от *русских* политических (или, как у нас говорят, *государственных*) преступников,—которые (по-преимуществу каракозовцы) содержались при так-называемой полиции Александровского завода,—и держало его исключительно с поляками (которые у нас в Сибири только и называются *политическими* ссыльными); тем не менее он имел там около себя кое-какое людское общество; здесь же он предоставлен исключительно самому себе. В географическом смысле Вилюйск есть не что иное, как большой секретный номер, устроенный самою природою и усовершенствованный благопопечительным начальством. Даже по отношению суровости и стеснительности надзора Чернышевский ничего не выиграл, переменив свою каторгу на поселение. По рассказам сопровождавших его жандармов, ему дозволяют ходить свободно (?!) в течение дня, но после девяти часов вечера его запирают на ключ. Для содержания караулов у его жилища находятся в настоящее время в Вилюйске 20 казаков и один жандармский унтер-офицер наблюдательного состава. Самый выбор этого унтер-офицера не лишен интереса. Лопатин, о котором я уже упоминал выше, содержался сначала в жандармской команде. Во время своего заключения он был вынужден пожаловаться жандармскому полковнику на излишние стеснения и дерзкое обращение со стороны одного из карауливших его унтер-офицеров, некоего Ижевского. Впоследствии он бежал и выбрал для своего побега дежурство именно этого унтер-офицера. Побег не удался, и Лопатин был схвачен очень недалеко от стен своей тюрьмы. Но недовольство его на Ижевского послужило в глазах полков-

---

[1]) Дваржачек и Иосафат Петр. Огрызко — участники польского восстания 1863 г. И. П. Огрызко умер в Иркутске в 1887 г.

ника Дувинга рекомендацией в пользу этого солдата; а потому, при назначении надзирателя для Чернышевского, его выбор остановился на Ижевском, который и был отправлен в Вилюйск на первый год. (Правительство считает климат Вилюйска слишком тяжелым *для жандармов*, а потому распорядилось не держать их там долее одного года). Затем, через год, Лопатин был выпущен на условную свободу, причем был поручен специальному надзору жандармского унтер-офицера Кузьмина. Угрожаемый вторичным арестом, Лопатин бежал во второй раз, и опять-таки неудачно: он был схвачен в Томске и приведен обратно в Иркутск. Но обстоятельство это опять-таки дало в глазах Дувинга какую-то особенную цену этому Кузьмину, вследствие чего, при назначении надзирателя Чернышевскому на второй год, этот Кузьмин был послан на смену Ижевскому. Недавно, не дождавшись решения суда, этот Лопатин бежал в третий раз и на этот раз, как кажется, удачно; по крайней мере, до сих пор об нем нет ни слуху, ни духу. К сожалению, на этот раз, в числе конвойных Лопатина не находилось ни одного жандарма. Обстоятельство это повергает всех знающих полковника Дувинга в большое недоумение относительно того, чем будет он руководствоваться при назначении надзирателя к Чернышевскому на третий год.—Нужно ли говорить, что все эти стеснительные меры, принятые начальством по отношению к Чернышевскому, без всякого повода с его стороны, не только возмутительны для всякого не лишенного искры человеческого чувства, но и глубоко противозаконны, так как они представляют вопиющее нарушение всех постановлений закона касательно ссыльных? Ссыльно-поселенцы, и по закону и по обычаю, живут на местах своего поселения совершенно свободно; а прожив мирно полгода, они даже имеют право получать билеты на отлучки. Многие из них имеют полугодовые и годовые билеты для разъездов по всей Восточной Сибири. Но то, что возможно для самых последних уголовных преступников, оказывается слишком либеральным, слишком роскошным для человека, политический образ мыслей которого имел несчастие не понравиться императорскому правительству. О климате Вилюйска не пишу ничего. Загляните сами в какой-нибудь географический словарь, и вы увидите, и без моих объяснений, насколько такой климат может считаться подходящим для слабогрудого, болезненного человека, как Чернышевский. Есть ли у него книги, много ли, и какие именно? Получает ли он журналы, газеты и письма?—Ей-Богу, не знаю. Если узнаю, напишу. Прежде,

говорят, ему позволялось обмениваться письмами с женою три раза в год; какие постановления существуют на этот счет теперь — я не знаю. Долго ли еще он будет в состоянии выносить эту суровость климата и материальной обстановки, это бесконечное, насильственное уединение, эти ежедневные, ежечасные нравственные мучения? — опять-таки не знаю. Во всяком случае это будет не первая и не последняя дорогая жизнь, пожранная на алтаре любезного нашему сердцу „Престол-Отечества".

Другая недюжинная литературная сила, пропадающая задаром у нас в Сибири или, по крайней мере, лишенная возможности развернуться, как следует, и принести всю ту пользу, на которую она способна, — это Щапов [1]). На этом человеке явлен нам пример замечательного беззастенчивого административного произвола, не прикрытого хотя бы для приличия ни малейшей судебной фикцией, никакой из тех разнообразных масок, которые администрация считает полезным надевать иногда в подобных случаях. В самом деле, этот человек, не лишенный по суду своих гражданских прав (?!), даже не судившийся ни разу, сослан в Иркутск по распоряжению шефа жандармов более чем 10 лет тому назад и с тех пор продолжает жить здесь и до настоящей минуты, не получая разрешения на выезд отсюда, несмотря на хлопоты его друзей и даже ближайшего начальства. Будучи знакомы со специальностью Щапова, вы и сами легко можете себе представить, насколько это насильственное пребывание в Иркутске благоприятно для его ученых трудов. В нашей помойной яме, именуемой Иркутском, несмотря на сорокатысячное население, нет ни одной порядочной библиотеки даже для так-наз. легкого чтения! В нашей так-наз. общественной библиотеке, кроме журналов да отдельных романов Львова, вы не найдете решительно ничего. Библиотека при здешнем отделе Географического общества состоит из старого хлама да нескольких специальных сочинений по географии вообще и географии Сибири в частности. Как видите, небогатый материал для исторических работ! Вот и приходится Щапову перерабатывать свои старые выписки из всевозможных актов и заметки, еще сделанные в молодости, во время пребывания его в Казани и в Петербурге. Невеселая перспектива для человека, так всецело

---

[1]) Аф. П. Щапову Г. А. Лопатин посвятил особую статью по поводу его смерти, напечатанную в газете „Вперед!" 1876, № 34 и перепечатанную в настоящем сборнике — см. ниже, стр. 127—133.

преданного своим занятиям, как Щапов! Даже местные власти понимают всю неуместность пребывания такого человека в пределах их захолустного помпадурства и не раз пробовали хлопотать о переводе Щапова в один из университетских городов России. Корсаков хлопотал об этом; Синельников, вскоре по своем приезде, снова хлопотал о том же предмете, вследствие ходатайства здешнего отдела Географического общества; всё безуспешно! А между тем мало есть людей, которые, даже с официальной точки зрения, имели бы столько прав на снисхождение и могли бы представить такие основательные причины, вынуждающие их к просьбе о переводе. В самом деле, ученые труды Щапова, достаточно известные читающей публике и самому правительству, делают для него необходимым пребывание в местности, где есть возможность пользоваться нужными учеными материалами. Жена Щапова, делящая с ним его тоскливую судьбу, женщина совершенно разбитая и больная, почти не выходящая из постели; все здешние доктора сбились с ней с толку и в один голос гонят ее к знаменитостям своей профессии и в лучший климат. Наконец, жизнь Щапова здесь могла бы выдержать самую придирчивую критику; он живет настоящим затворником и отрывается иной раз от своего письменного стола только за тем, чтобы пройтись пять-шесть раз от одного угла своего квартала до другого. И вот, несмотря на всё это, жандармерия остается неумолима и, в продолжение 10 лет, не может позабыть своей старой вражды к этому человеку! Наши генерал-губернаторы ничего не имеют сказать против него, но здешний жандармский полковник, некто Дувинг, как говорят, не находит возможным дать ему с своей стороны хорошую аттестацию. Это, что называется, „жалует царь, да не жалует псарь“, и вот из-за такого-то „псаря“ приходится человеку гнить целые годы в такой помойной яме! Этот Дувинг, это „царево око“ (и око, говоря в скобках, довольно кривое), сам по себе представляет довольно любопытный сюжет для беседы, и я не откажу себе в удовольствии поговорить когда-нибудь об нем; но теперь я отлагаю его про запас и опять возвращаюсь к своему предмету.

Третья и последняя литературная сила, судьба которой мне сколько-нибудь известна, это Худяков [1]). Он был осу-

---

[1]) По поводу смерти Ив. Александр. Худякова († 19 сент. 1876 г. в Иркутске) Г. А. Лопатин написал очень ценные в автобиографическом смысле „Воспоминания“, напечатанные в газете „Вперед!“ (1876, № 47) и перепечатанные в настоящем сборнике — см. ниже, с. 133—142.

жден на поселение и, с беспримерной жестокостью, был поселен в Верхоянске, куда не загоняют даже и уголовных преступников. Население этого городишки состоит из 164 человек якутов; из русских там есть исправник, поп да фельдшер. Почта, как я слышал, ходит туда только раз в год и уже во всяком случае не чаще трех раз в год, как и в Вилюйск. Живет он там и до сих пор. Первоначально он пробовал позабыться в ученых занятиях: он составил якутский словарь, якутскую грамматику и написал еще какое-то сочинение, название которого я в настоящую минуту не могу припомнить. Все эти вещи он послал через ближайшее начальство в какие-то учено-литературные учреждения, но никакого ответа не дождался. Где теперь находятся все эти вещи—я не знаю: вероятно, валяются где-нибудь в делах Якутского областного правления. Но Худяков не долго мог вытерпеть эту жизнь и вскоре сошел с ума. Я слышал из верных источников, что якутский губернатор Де-Витте трижды спрашивал разрешения перевести его в якутский сумасшедший дом, но разрешения этого не последовало и до сих пор.

Той же участи подвергся и его товарищ по делу—Ишутин [1]). Он, как известно, был остановлен, по распоряжению властей, на пути из Петербурга в Москву и привезен обратно в Петербург, где его посадили в Шлиссельбург. Что там было с ним — я не знаю, но, когда через год его привезли в Нерчинские заводы, в нем уже были заметны некоторые признаки умственного расстройства, перешедшие потом в настоящее помешательство. В настоящее время он содержится в больнице Александровского Нерчинского завода.

Относительно других каракозовцев рассказывать приходится немного. Вследствие сокращения сроков по поводу разных случаев, они уже вышли из каторги и отправлены на поселение. В декабре 1871 года семеро из них: Странден, Юрасов, Ермолов, Николаев, Васильев [2]), Загибалов и

---

1) Ник. Андр. Ишутин († на Каре 5 января 1879 г.).—Основатель и главный деятель московского кружка „Организация", из которого вышел Д. Вл. Каракозов.

2) Г. А. Лопатин ошибочно причислил Васильева к „каракозовцам"; среди привлеченных по этому делу нет ни одного лица с этою фамилией. По всей вероятности, речь идет о студенте С.-Петербургского ун-та Ник. Васильеве, преданном суду прав. сената и „признанном виновным в злоумышлении на жизнь государя императора, выраженном в составленном и распространенном им возмутительном воззвании" (К гражданам). 23 марта 1863 г. он был приговорен к смертной казни, замененной десятилетней каторжной работою, которую он отбывал на Александровском заводе Нерчинских рудников. На основа-

Шаганов проходили через наш город и содержались некоторое время в здешнем остроге. Они отправлены в Якутскую область, с приказанием расселить их *поодиночке* по разным захолустьям, так что они тоже, вероятно, не раз пожалеют, как и Чернышевский, о каторге, где они жили вместе. Содержания им назначено 100 с чем-то рублей в год каждому, но с тем, чтобы у них была отнята возможность всякой казенной или частной работы. В последних видах, их велено поселить в таких местностях, где не существует „никакой промышленности“. Очевидно, правительство не желало их присутствия там, где какой-нибудь промысел сбивает в кучу бо̀льшую или меньшую массу рабочего люда. — Из них Николаев живет теперь в Верхоленске; Ермолов долго валялся больной сначала в Киренске, а после в Якутске; относительно других не знаю ничего.

Еще прежде этих семи прошли через Иркутск еще двое каракозовцев: Климов [1]) и Дядин, тот самый отставной солдат, который, после покушения 4 апреля, воскликнул в пьяном виде в каком-то кабаке: „разве так надо стрелять!“ и за это угодил в государственные преступники и на двадцатилетнюю каторгу после двадцатипятилетней беспорочной службы царю и отечеству! — Климов поселен в Киренске, а Дядин, если не ошибаюсь, в Макаровской волости, одним словом, на самой границе Якутской области.

Одновременно с ними проходил Кувязев [2]), молодой артиллерийский офицер, судившийся ранее 1866 года за распространение каких-то прокламаций. Этот семнадцатилетний мальчик просидел три с чем-то года в Петропавловской и был приговорен к аресту при гауптвахте на 6 месяцев, без всяких дальнейших последствий, даже без исключения со службы. Но тут подоспело 4 апреля, и его приговор был „смягчен“ на пятнадцатилетнюю каторгу! — Он теперь поселен в Верхоленске.

нии манифестов 1866 и 1871 г.г., был поселен в Амгинском улусе Якутской области, а в конце 1873 г. получил разрешение переселиться в Оренбург.

[1]) Фельдъегер Климов не принадлежал к „каракозовцам“ и был арестован около 4 апр. 1866 г. по доносу; у него было найдено рукописное сочинение антиправительственного содержания с резкими отзывами об Александре II. — Солдат Дядин тоже не имел никакого отношения к „каракозовцам“.

[2]) Подпоручик 12 артилл. бригады Владимир Кувязев, преданный военному суду за участие в распространении воззваний общества „Земля и Воля“, был приговорен к каторжным работам на 8 лет и отбывал их на Нерчинских заводах; на основании манифеста 1871 г. переведен на жительство в Иркутскую губ., а в 1873 г. — в Пермскую.

„Из остальных каракозовцев (поселенцев) имею понятие о местонахождении только трех лиц: Маевского, Маркса и Федосеева (Виктора) [1]). Из них Маевский служит в Енисейске в какой-то золотопромышленной конторе, Маркс живет там же и занимается тоже частным трудом; а Федосеев жительствует в с. Чадобце, на Верхней Тунгузке.

О нечаевцах могу сообщить очень немногое. Успенского провезли через Иркутск в сентябре 1872 года: во время пребывания своего в здешнем за́мке он всё время содержался в секретной. Теперь он, как говорят, находится в Александровском Нерчинском заводе. Кузнецов, Николаев и Прыжов (с женой) прошли здесь в партии зимою 1872 года, в ноябре или декабре месяце. Все трое довольно долго содержались в остроге в ожидании назначения. Прыжов находится теперь, по слухам, в Петропавловском заводе, а про Кузнецова и Николаева говорят, будто бы они на Каре; но правда ли это,—не знаю [2]).

О ссыльных по разным другим политическим делам могу сказать еще меньше. Обручев [3]) жил в Иркутске; служил в какой-то частной конторе; где он теперь, — не знаю. Баллод [4]) живет на Илге, кажется, подле с. Знаменского. Еще слышал я про какого-то Васильева, живущего в Балаганске, но ничего более не знаю про него, кроме того, что он тоже из „государственных“. Вы, конечно, читали траги-комический процесс Гончарова [5]). Герой этого процесса

---

[1]) О П. П. Маевском, Максиме. О. Марксе и Викт. А. Федосееве, равно как и о вышеупомянутых „каракозовцах“—см. „Госуд. преступления в России в XIX в.“, изд. под ред. Богучарского, т. I, с. 249—274 (Штуттг., 1903).

[2]) Речь идет о нечаевцах: Петре Гавр. Успенском, Иване Гавр. Прыжове, Ник. Ник. Николаеве и Ал. Кир. Кузнецове.

[3]) Владимир Обручев за распространение листков „Великорусса“ был сослан в каторжные работы, которые отбывал на Петровских заводах; в 1864 г. перечислен на поселение; в 1872 г. возвращен из Сибири и поселен в Уфе; впоследствии снова принят на государственную службу.

[4]) Студент Петербургского ун-та Петр Баллод за устройство „карманной“ тайной типографии, в которой были отпечатаны прокламации „К офицерам“, „Подвиг капит. Александрова“ и „Русское правительство под покровительством Шедо-Феротти“ 11 ноября 1864 г. был приговорен к 15-летней каторге, сокращенной по конфирмации до 7-ми лет. В 1871 г., на основании манифеста, выпущен на поселение; в 1874 г. ему были возвращены права состояния. П. Баллод жил в Олекминском округе Якутской области и состоял на службе на промыслах Ленского золотопр. товарищества.

[5]) Слушатель Технологического ин-та Ник. Петр. Гончаров приговором судебной палаты 16 февр. 1872 г. за распространение

живет тоже у нас в Иркутске. Он подал просьбу о помиловании и был сослан сюда на житье, без лишения гражданских прав. Но мне не доводилось еще пока встречаться с ним.

Вот и всё, что я в состоянии сообщить по заданным мне вопросам. Не взыщите за скудность сведений. Чем богат, тем и рад.

Хотелось бы мне сообщить вам рассказ о двух странных сектантах, сидящих уже четыре года в здешнем остроге и известных у арестантов под именем „Не-наших“ [1]). Это люди, отрицающие бога, религию, царя, начальство, законы и установленные обычаи, отказывающие в повиновении властям, стремящиеся к какому-то „царству свободы и правды“ и вытерпевшие несказанные мучения за свои убеждения. В особенности интересны они в виду того, что они не представляют собой единичного явления, и еще недавно были осуждены в Саратове их единомышленники под именем „молчальников“.

Я много наслышался об этих удивительных людях от одного из моих знакомых, содержавшегося довольно долго в остроге (каюсь: у меня есть и такие знакомые), но я не имею теперь времени, чтобы написать вам об них с должною подробностью. Повремените немного [2]).

II.

Не-наши [3]).

Иркутск, февраль 1874 г.

Я обещал написать вам кое-что по поводу „Не-наших“, по поводу той странной секты, несколько представителей которой содержалось в нашем остроге. Не посетуйте за

прокламаций („Виселица“, „Чего мы хотим?“) по поводу Парижской Коммуны был сослан на поселение в Восточную Сибирь.

[1]) Корреспонденция „Не-наши“ была напечатана в третьем томе „Вперед!“ (1874), отд. II, с. 160—181.

[2]) К корреспонденции Г. А. Лопатина „Из Иркутска“ редакция „Вперед!“ присоединила следующее примечание:

„В дополнение к сказанному в этой корреспонденции о Лопатине можем сообщить читателям совершенно верное известие, что Лопатину в третий раз *удалось*. Он находится вне лап русских сыщиков и тюремщиков. Он за границей, с нами, в наших рядах. Может быть, он найдет возможным дать хотя отрывки из истории своего бегства, которое было бы сказочно, если бы дело шло о ком-либо другом. Но для напечатания всех подробностей встречаются неодолимые препятствия.“

[3]) Огромная корреспонденция о представителях секты „Не-наши“, которую Г. А. Лопатин обещал написать (см. „Вперед!“, т. II (1874),

неполноту и отрывочный характер сведений. Рассказываю все, что слышал.

Года четыре тому назад к нам „пригнали“ двух ссыльно-поселенцев,—Василия Шишкина и Василия Иванова,—которые поразили местное начальство странностью своего пове-

---

отд. II, с. 114), была напечатана без подписи автора в том же непериодическом издании „Вперед!“ т. III (1874), отд. II, с. 160—181, с редакционным предисловием, в котором указывается на рост протеста в народе и на то, что „сквозь буквенную схоластику старого раскола пробивается в народе луч критики, смело призывающей к ответу все основы старого общества,—критики, которая быстро доходит до полного отрицания церковных, политических и общественных идолов“. Сопоставляя „Не-наших“, которые собственною силою дошли до полного отрицания старых начал гнилого общества, с „отрицателями из привилегированной среды“, автор предисловия решительно стал на сторону первых: „народные отрицатели своею последовательностью могут пристыдить не только наших жалких либералов, но и многих из самых радикальных и заметных наших деятелей... Они умеют ненавидеть, умеют отвечать ударом на удар, вполне зная, чему они подвергаются за это. И перед мучениями, на которые идут *эти* отрицатели, бледнеют тюрьмы и каторги мучеников нашей среды“. В этой стойкости живет та „крепкая выносливость русского народа, которая сохранила в нем свежесть мысли сквозь тысячелетия политического рабства, мертвящей проповеди православия; сквозь тысячелетия разорения, голодания, всевозможной эксплоатации; сквозь тысячелетия невежества и развращающей семейной эксплоатации“. Конечно, редакция „Вперед“ слишком переоценила появление „Не-наших“, придав им такое важное значение. Благодаря резкому индивидуальному характеру, „Не-наши“ не могли получить широкого развития, и в литературе, кроме статьи Мишла (М. И. Орфанова) „Рассказы из сибирской жизни“—„Отеч. Записки“ 1881, № 6, и заметки А. Пругавина „Современные движения в сектантстве“—„Голос“ 1881,№ 199—о „Не-наших“, не имеется никаких сведений. Однако, преувеличенная оценка „Не-наших“ вполне понятна: разочаровавшись в революционных стремлениях старообрядцев, на которых возлагали столько надежд в 1860-х г.г., революционеры семидесятых годов были обрадованы появлением антиправительственных идей среди русских сектантов, которые впоследствии, значительно видоизменившись, нашли довольно широкое отражение (антигосударственное, но не революционное) в некоторых рационалистических сектах.

В 1911 г. в первой книжке „Современника“ статья о „Не-наших“ была перепечатана с полною подписью Г. А. Лопатина и с следующим редакционным примечанием: „статья эта, помещенная в 1874 г. в III т. „Вперед“, была написана Г. А. Лопатиным в Париже, по свежим воспоминаниям о совместном житье его с „Не-нашими“ в Иркутском остроге, но редакция, по своим соображениям, сочла более удобным придать ей вид корреспонденции с места; вот почему в ней говорится об авторе в третьем лице“. Однако, статья Г. А. Лопатина, благодаря своей резкости, была вырезана по требованию цензуры и сохранилась в очень немногих экземплярах „Современника“.

дения. Назначили их в одну из волостей Иркутской губернии! Они не идут.

— Волость — значит власть,—говорил Шишкин,—власть то *ваша*, а я *не ваш;* и власти вашей над собой не признаю: и в волость вашу не пойду.

— Как не пойдешь, когда назначат?—Подать сюда его статейный список. Ты грамотный?

— Кабы я был грамотный [1]),—лукаво заметил Шишкин,—я бы размок по дороге, как меня дождем-то поливало...

— Читай!

— Я вашего *начертания* не разумею; и тех *чертей*, которые его *начертили*, не признаю; не признаю и того *державца*, кем эти черти на место поставлены; и приказаний ваших исполнять не буду.

— Будешь, когда выпорют!

— Виданое дело! Пороли, да отступились. Сколько об меня розог да прикладов изломано, столько *ты*, может-быть, и во сне не видал.

— Как ты смеешь говорить мне *ты?*— вскидывается на Шишкина советник губернского правления, принимающий партию.

— Да, ведь, я с тобой с одним теперь говорю? Я вижу, что вас, чертей, здесь много, да спрашиваешь-то меня ты один.

— Ты забываешь, скотина, что я начальник, а ты подчиненный.

— У меня нет ни начальников, ни подчиненных; вот мои рабы,—прибавляет он, показывая свои десять пальцев,— кроме них, у меня других рабов нет, и я сам никому не раб.

— Что ты за человек?

— Я—не человек. Человек-то значит ложь. Справься-ко в своих писаниях.

— Кто же ты такой?

— А вот смотри, кто я такой.

— Как твое имя?

— У меня нет имени.

— Как же тебя зовут?

— Когда ты меня сюда позвал, так видно знал, как меня зовут? Чего же ты еще спрашиваешь?

— Какой ты веры?

— Никакой.

— Ты сектант?

---

[1]) „Грамотка“ по-мужицки—„бумажка“. (Прим. Г. А. Лопатина).

— Нет.

— В какого бога ты веришь?

— Я ни в какого бога не верю: бог-то ваш, так и возьмите его себе, а мне он не надобен.

— Чорту, что-ли, ты молишься, прости господи?

— Никому я не молюсь, потому что молитва мне не нужна. А чорт-то тоже ваш; а у меня нет ни бога, ни чорта.

— Куда же тебя девать, когда в волость ты не идешь, а в тюрьме тебя держать долее не приходится?

— Отправь меня туда, где мне следует быть. Зачем же ты брал меня, когда теперь не знаещь, куда девать? Ведь я не просил тебя приютить меня, дать мне кров, пищу, одежду. Свое было.

— Да разве *я* взял тебя, оглашенный ты этакой?

— А разве не всё равно? Разве вы все не одна шайка? И ваш бог, и ваш царь, и ваши попы, и ваше *корыстолюбивое* воинство, и ваши черти—подьячие, и ваши подданные, которые слушаются вас на свою шею,—все вы одного отца дети! а я не ваш, и знать вас не хочу!

— Много ли вас, таких оглашенных?

— Я *один*; я знаю только сам себя, а до других никакого мне дела нет.

— Ну, а этого, товарища-то твоего, тоже не знаешь?

— У меня *нет товарищей*.

Из дальнейших расспросов оказалось, что Шишкин наотрез отрицает: бога и чорта, принадлежность к какой бы то ни было религии или секте, царя, духовное, гражданское и военное начальство, законы, нравы, обычаи,—одним словом, всё, кроме собственного своего авторитета. Он не считает себя ни христианином, ни человеком; не признает никакого имени и не откликается, когда его кричат: Шишкин!—Всем говорит ты. Называет людей не по имени, а по возрасту, по занятиям или по внешним приметам; например: „эй, старик!" или „эй, солдат! эй, прокурор!", или „эй, хромой!"
Иванов представляет точную копию с Шишкина. Так как оба они при каждом случае говорят: „это ваше, а я-то, ведь, не ваш", то арестанты немедленно прозвали их „Не-нашими", и эта кличка так и прикипела к ним: сами они откликаются на нее охотно. В виду того, что, при приеме партии, Не-наши высказали в своих ответах столько смелости, сколько не полагается иметь здравомыслящему человеку в России, местное начальство усумнилось в их умственных способностях и послало их „на испытание" в сумасшедший дом. Так как Не-наши не признавали за начальством *права* держать их

и уступали только *силе*, то они воспользовались недостатком надзора в сумасшедшем доме, ушли оттуда и отправились в Россию. В Нижнеудинске у них спросили паспорты, но так как никаких „начертаний“ при них не оказалось, то их заарестовали и вернули в Иркутск. Завязалось дело, и вот они сидят *четыре года*, пока иркутский окружный суд и нижнеудинский окружный суд пересылают их дело один другому, основываясь один на том, что арестанты взяты в Удинске, а другой -на том, что они содержатся в Иркутске. Каждому не хочется взять себе дело, требующее всего несколько *часов* работы (ведь дело-то *поселенческое!*), а арестанты сидят из-за этого *года!..* Впрочем, здесь это не в диковинку. В остроге есть арестанты, по делу которых предварительное следствие производится *семь лет*, и конца ему не предвидится...

Шишкин представляет тип „мученика за веру“, хотя от *веры* он и отрицается. Родом он из Лыскова; воспитался в учении федосеевцев; умный, начитанный „от писаний“, опытный в религиозных спорах, постоянно ведомых друг с другом и с представителями разных толков, он с жаром предался с ранних лет отыскиванию *истины*, как он говорит. В своих поисках за истиной он побывал в четырех сектах и трижды крестился на различные фасоны. Во время этих поисков он имел случай убедиться, что каждая секта очень сильна в *критике* заблуждений других сект, но очень слаба в доказательствах истинности ее собственных учений. Это навело его на мысль, что *все* религиозные учители поголовно заблуждаются и что все их учения суть их собственные выдумки. Изучая тщательно священное писание, он нашел, что оно противоречит постоянно само себе и что следующие из него практические выводы находятся в вопиющем противоречии с теми нравственными правилами, которые подсказывало ему его собственное сердце и здравый смысл. Он отверг религию. Но уважение к власти предержащей, к обычаям, к житейским правилам основано для простого человека, главным образом, на религии. А потому, отвергнув религию и бога, он отверг разом и обязательность для него существующего общественного порядка, подверг его собственной критике и порешил устроить свои отношения к миру „своим умом“. На его идеи значительно повлияло столкновение в Саратове с турецкими выходцами, проповедывавшими подобные взгляды на вещи. Эти турецкие выходцы, по рассказам, были потомки стрельцов, которые при Петре I бежали в Турцию и которым в шестидесятых

годах было дозволено или даже предложено вернуться в Россию[1]). Говорят, что этим вызовом воспользовались очень многие из них. Сначала, расселившись по разным губерниям, по собственному выбору, они жили мирно. Но потом, несмотря на объявленную им при вызове свободу вероисповедания, они подвергнулись гонению за веру. Повидимому, негодование правительства было возбуждено именно этою сектою, не называющею себя никаким особенным именем, но называемою другими Не-нашими, молчальниками (за отказ отвечать на допросы) и т. под., за анти-религиозный, анти-правительственный и анти-государственный характер ее учений, которые стали распространяться и между русскими крестьянами. По этому поводу была наряжена особая комиссия, под председательством кн. Щербатова (в 1867 или 1868 году,—наверное не помню). Понятно, наша пресса не нашла нужным даже заикнуться об этом деле. По словам Шишкина, двадцать семей было сослано на Кавказ на тех основаниях, на каких ссылаются молокане и духоборцы. . Из фамилий я помню только семью Богатенковых, из турецких выходцев. Весь этот народ держался очень бодро. Говорят, одна из дочерей Богатенки, когда их везли на эшафот, затянула какую-то веселую песню, чтобы показать, что они плюют на всю эту церемонию. Принуждены были, для прекращения соблазна, всё время бить в барабан. Но Шишкину досталось хуже всех. Его ум, начитанность, бойкие ответы и непреклонный характер раздражили против него следователей и суд. Так как он отказывался от паспорта и от имени, которое ему насильно навязал поп при крещении и которое утвердила за ним светская власть, то начальство воспользовалось этим и засадило его в *арестантские роты*, как *бродягу, непомнящего родства*. Заметьте, что *все знали*, кто он такой. Лысковский крестьянин по происхождению, он платил пошлины купца первой гильдии, вел громадную хлебную торговлю, имел в Саратове *собственный дом* и принадлежал к числу торговых нотаблей города. Его жена, женатые сыновья и замужние дочери были хорошо известны следователям, которые сами посылали их уговаривать старика образумиться. При аресте у него отобрали

---

[1]) Напоминаем читателю, что родословная этих турецких выходцев указана здесь со слов Шишкина, т.-е. по народным слухам. Возможно, что на деле они были потомками не стрельцов, а донских казаков, ушедших в Туретчину после подавления булавинского бунта.— Примечание Г. А. Лопатина, приписанное в 1910 г. („Соврем." 1911, № 1, с. 63).

80 тысяч рублей. И всё это ничуть не помешало засудить его, как непомнящего родства бродягу... Кстати, вот образчик его характера. Отобрав у него деньги, ему сказали: когда тебе понадобятся деньги на расходы, можешь спросить: „тебе будут выдавать мелкими суммами,—по 10, по 20, по 100 руб.“. Он отвечал: „Если вы забрали эти деньги, значит—вы считаете их вашими? Ну, так и пользуйтесь ими!.. а я лучше умру, чем попрошу у вас вашего, хотя бы то был грош“. И действительно, несмотря на все последующие лишения, он ни разу не попросил ни копейки. В арестантских ротах начались для него страшные испытания. Прежде всего его остригли и обрили,—насильно, конечно, после серьезной свалки. Потом велели работать. Он отказался наотрез. „Силою вы меня взяли, силою вы меня и держите,—говорил он,—так вы должны сами поить, кормить, одевать меня и работать за меня. Я к вам не напрашивался. Отпустите меня, я к вам за помощью не приду. А хотите держать меня, так и рóбьте за меня. А я на вас не работник“. Его секли, ломали об него приклады, приковывали к стене,—ничегó не могло сломить его упорства. Тогда, чтобы его пример не развращал других арестантов, его бросили в секретную, где его держали в рубище, на хлебе и воде, в омерзительной атмосфере (он отказался выносить так-называемую „парашку“; начальство велело оставить ее в камере, сделав, таким образом, из камеры никогда не очищающийся нужник). Шишкин заболел цынгою, покрылся язвами, проникавшими кое-где до костей. Но упорство его осталось по-старому. В это время появился указ, которым содержание в арестантских ротах заменялось для бродяг поселением в Сибири; и вот Шишкина погнали в Сибирь, надбавив ему и тут наказания, т.-е. поселив его, вместо Западной Сибири, в Восточную. По дороге раны его зажили, и он снова окреп. Во время пути он столкнулся с Василием Ивановым. Этот Василий Иванов—тип аскета; он родился от родителей беспоповщинской секты; воспитался в каком-то пустынном ските; полюбил „мать-пустыню“ и провел в ней—в посте, воздержании и молитве—всю свою жизнь, лет до 35. Переходя как-то из одного пустынного скита в другой,—снабженный „страха ради иудейска“ волчьим видом,—он был взят, осужден за бродяжничество, заключен в арестантские роты, а после сослан в Сибирь. По дороге Шишкин обратил его в свой толк, и они пошли далее под именем двух Не-наших. Дорога для них не прошла без приключений. Как-то арестантская баржа села

на мель. Майор, начальствовавший конвоем, заставил арестантов работать самих над ссаживаньем баржи с мели. Шишкин, по обыкновению, не повиновался и сидел спокойно на бережку. Майор, не зная еще его характера, подскочил к нему и поднял его за волосы. Тогда Шишкин сгреб майора под себя и стал ему „накладывать". Но тут множество арестантов бросились угодливо на выручку начальства и, в пылу добровольного холопства, избили Шишкина до полусмерти. Майор начальству не жаловался, а Шишкин выдержал тифозную горячку, но оправился. В Нижнеудинске подобная же история случилась с Ивановым. Смотритель острога, Ситников, оскорбленный тем, что он сидел в его присутствии, да еще в шапке, рванул с него шапку вместе с волосами. Тот схватил самого смотрителя за волосы и стал его „возить", пока он не был отнят другими арестантами. Большинство арестантов, как известно, отличается крайним нравственным растлением: это мелкие трусишки, старающиеся выслужиться перед начальством доносами и рабским угодничеством; как дикие звери растерзывают раненого или ослабевшего товарища, так и они накидываются на товарища, преследуемого начальством или каким-нибудь силачом из своей же братьи. Они помяли Иванова основательно и отняли у него изрядный кусок жизни. Тем не менее, он поболел, поболел, но „отлежался". В результате оказалось, что и начальство и товарищи стали обращаться с Не-нашими осторожно и не осмеливались раздавать им тычки, как прочей острожной рвани. Наконец, они пришли в Иркутск, где с ними произошла описанная выше история, вследствие которой они сидят да посиживают в нашем остроге.

Если бы вы пожелали, чтобы я изложил вам их учение в связной форме, то я, право, затруднился бы. Мне не случалось вести с ними систематической беседы, а то, что я слышал от них и от других, не составляет цельной картины. Попробую рассказать, что припомню. Прежде всего об их внешних отличиях. Будучи поклонниками всего естественного — „что от природы", — они не стригутся и не бреются. Водки не пьют, потому что „зачем же самому себя нарочно дураком делать?" Табаку не курят, потому что табак не есть что-либо „потребное" и кроме тошноты и головокружения ничего хорошего в нем нет. Но пищу едят всякую и постов не держат. Полового аскетизма не придерживаются. Иметь „подругу" считают „потребным" и согласным с природою. Но к острожным прелестницам не обращаются, считая, что это значит поганить себя, всё равно как есть из

грязной посуды. В церковь не ходят; икон не почитают, считая их досками, годными только на покрывание горшков; сами никогда не молятся, ни по нашему, ни по своему; в комнатах не снимают шапок, чтобы не подумали, что они это делают из уважения к иконам. Не признавая ни царя и никаких „державцев", ни их слуг, они не снимают ни перед кем шапки; не отдают никому никаких знаков уважения; не исполняют добровольно ничьих приказаний, уступая только силе, да и то только пассивно, а не активно; всем систематически говорят *ты*. Будучи очень обходительными с товарищами, они жадно выискивают случая для грубого, резкого протеста пред начальством, и чем выше начальник, тем приятнее им задеть его. Вы знаете, что значит у нас генерал-губернатор. В его присутствии, не то что у арестантов, а и у чиновников замирает дух. Но Не-нашим он ни почем. Входит Синельников [1]) в камеру Шишкина. Тот нарочно лежит, в шапке.

— Зачем ты, старик, держишь меня здесь? — обращается он к Синельникову при входе. — Загнал, как чужую скотину, в свой хлев и не выпускаешь! Варвары вы все, кровопийцы, право!

На вопрос: кто ты такой?—он отвечает: „а вот смотри, кто я такой!" и т. д., по заведенному раз навсегда образцу. Когда вел. кн. Алексей Александрович осматривал проездом тюрьму, оба Не-наши отказались встать в его присутствии и снять шапки. Он было сделал большие глаза, но ему сказали, что это помешанные, и он прошел мимо. Как пример их упорства в неисполнении приказаний, расскажу следующее. В Удинском остроге их хотели заставить носить воду. Не считая себя „рабами", „повинными" робить на самозванных господ, они отказались наотрез. Карцер, розги не повели ни к чему. Тогда вздумали *запретить давать им пить!..* И что же? — Не-наши решились лучше помереть, чем подчиниться. Но когда они уже совсем ослабели и стали бредить, выдумщики испугались и опять разрешили им воду. Не-Наши снова поправились. Пробовали заставить их выносить из камер нечистоты. Не-наши опять уперлись. Начальство опять за розги. — Но никогда, при самом жестоком наказании, от них не слышали просьбы о пощаде. „Варвары! мучители! душегубы! тираны! кровопийцы!" — вот

---

[1]) Ник. Петр. Синельников — генерал-губернатор Восточной Сибири. — О нем и о его отношениях к Г. А. Лопатину см. выше — в его показаниях, с. 63—88.

всё, что от них удалось добиться розгой. Кстати: они никогда не употребляют „непечатных“ слов и бессмысленных ругательств. Их ругательства, если их можно так назвать, всегда имеют значение и характеризуют деятельность человека. „Я не ругаюсь“, говорил Шишкин прокурору, обозвав его чортом, „а называю тебя *по твоим делам*. Если ты чертишь, значит ты чорт; если ты мучишь и тиранишь, значит ты мучитель, кровопийца, тиран, варвар!..“ Пробовало начальство сажать их, за такое „называнье людей по их делам“, в секретную, зимой, в одной рубахе, даже без порт. Не-наши простужались, схватывали горячку, попадали в больницу, но не исправлялись.

Другая черта, отличающая их даже внешним образом,— это их язык. Они тщательно избегают употребления многих обыкновенных слов, заменив их различными синонимами. Шишкин не скажет „спать“, а „отдыхать“. Он не „пьет“ и не „ест“, а „кушает“. Он употребляет не „чай“, а „китайскую травку“. „Отец“ у него — „корень“, „дети“—„отрасли“, „жена“ — „подруга“ и т. п. Себя он ни за что не хочет назвать „человеком“, выводя из писаний, что человек есть *ложь*. Эти странности языка действительно могут заставить признать их с первого взгляда за каких-то полупомешанных, и только последующее наблюдение убеждает, что тут имеешь дело с людьми далеко недюжинного ума. Эти странности имеют, повидимому, две причины. Во-первых, не забудем, что эти люди выработались из сектантов, помешанных на схоластическом анализе писаний, на анализе *слов*. Они придают огромное значение *слову*. „Где слово, там и дело“, говорят они. Все их убеждения добыты, главным образом, из логического и филологического анализа духовной литературы, да из обдумыванья самых элементарных фактов из области естественных и социальных наук. Отсюда — та важность, которую они придают чисто словесным различиям. Отсюда же — убеждение, будто словесные аналогии *всегда* указывают на реальные аналогии. Льюйс говорит где-то, что некоторые заблуждения Аристотеля зависели оттого, что, будучи греком, знавшим и изучавшим только *свой* язык, никогда не сравнивая его с другими, он воображает иной раз, что аналогия между двумя словами указывала и на аналогию между реальностями, обозначавшимися этими двумя словами. Нечто подобное видно и у Не-наших. Как вам нравится, например, такое рассуждение: „Я *чая* не употребляю. *Чай*-то ваш. Вы *чаете* воскресения мертвых; вы *чаете* себе великих и богатых милостей. А я ни от кого и ничего себе

не *чаю,* и *чая* вашего не признаю". Или: „я не *ем* и не *пью,* это вы *едите* друг друга и *пьете* кровь из ближнего; вы *пьете* водку; кто *пьет,* тот *пьян* живет, а я *кушаю*". Или: „кто *спит,* тот *проспит,* а я *отдыхаю*". — Вторая причина состоит в том, что они *умышленно* стараются выделиться от прочей массы, хотя бы внешними признаками, чтобы их не смешивали в одно с разными сектаторами или с гражданскими преступниками. Один из людей, интересовавшихся их взглядами, убеждал как-то Шишкина говорить общечеловеческим языком. „Ведь если бы ты стал говорить с немцем, толковал он ему и хотел, чтобы он тебя понял, ведь ты говорил бы ему по-немецки. Так и теперь, если ты хочешь, чтобы те, с кем ты говоришь, понимали тебя и убеждались, говори на том языке, к которому они привыкли". Шишкин на это отвечал приблизительно так: „Большинство заговаривает со мной только для того, чтобы почесать язык. Я вовсе не нуждаюсь, чтобы меня понимали *такие* люди. Напротив, мне еще лучше, что они *чудятся* и говорят: „это какой-то не-наш! совсем и на человека то не похож". Если же кто говорит со мной искренно, если я вижу, что он действительно ищет истины, а не болтает для препровождения времени, то я ему объясняю его языком". И в самом деле, с этим господином, например, он всегда говорит самым обыкновенным языком. Затем Шишкин очень любит говорить притчами, загадками, парадоксами и не любит разрешать недоумения сразу. „А ты *сам* дойди,—говорил он.—Жевкой-то только маленьких ребят кормят; а взрослому жеваная пища не потребна. Только то, до чего кто *сам* дошел, только то и его".

От этих внешних признаков Не-наших обратимся к их миросозерцанию, насколько я его знаю. — Бога они не признают. На вопрос: кем же создан мир? они отвечают: это всё *от природы.* Они считают, что мир существует *от века* в таком виде, как теперь. Не-наши, — особенно Шишкин, искусившийся в писаниях, — очень любят прения с арестантами из духовных, в которых он доказывает им, например, что действия их бога, как они рассказаны в библии, никак не могут быть согласованы с теми свойствами, которые они ему приписывают. Например, он рассуждает так: „Создавая человека *способным* к греху, бог или *не знал,* что он создал его таким, — тогда он *не всеведущ;* или он знал это, но *не мог* сделать его иначе, — тогда он *не всемогущ,* или он сознательно и добровольно сделал его таким, а потом сам же наказывает его за то, что он таков, каким *он* его сделал,—

тогда он *несправедлив.* Он создал человека на *забаву* себе, и притом на забаву *злую*“.—Или Шишкин начнет доказывать, что Христос не *сын божий,* на основании известной „родословной“, кончающейся Иосифом. Он говорит: „Если Иисус сын *божий,* то какое отношение имеет к нему родословная *Иосифа,* даже по *человечеству?* Уж тогда следовало бы поместить родословную *Марии.* Если же действительно это родословная *Христа,* как сказано в евангелии, то тогда Христос сын *Иосифа,* а *не бога.* Или, анализируя фразу: „и не знаша ю, *дондеже* родила сына первенца“, он доказывает, что Мария не могла быть *присно*девою. Иногда, к ужасу и негодованию своего оппонента, он заставит его же самого, с помощью цепи умозаключений, вывести, что *бог* есть *дьявол.* Диалог ведется примерно так:

— Вашу библию-то кто написал?

— Моисей.

— Сам, из своей башки?

— Нет, по вдохновению божию богодухновенно.

— Это значит, что бог всё равно, что сам написал ее, только его рукою?

— Да.

— Ну, а сказано там у вас где-нибудь, что „дьявол есть ложь и отец лжи“?

— Сказано.

— Значит ложь от дьявола? значит ложь—сам дьявол или, по крайней мере,—сын дьявола?

— Да.

После этого он берет какое-нибудь неудачное пророчество или какой-нибудь факт из библии, заведомо ошибочный даже для простого человека, при его низком уровне знаний. Добившись признания факта ложью, он возвращается к прерванному диалогу и говорит:

— Значит, в библии наврано. Библию диктовал бог. Значит бог соврал. Значит бог есть ложь. Но ложь есть дьявол. Значит бог есть дьявол.

Припертые к стене, взбешенные противники не раз собирались опровергать его доводы побоями и внушать ему уважение к христианству силою кулака.

В загробную жизнь и возмездие Не-наши не верят. Они считают, что человек увековечивается и становится бессмертным в своем потомстве, через своих детей, на которых разделяется и постепенно истрачивается, так сказать, и дух его и тело, остатки же умирают безвозвратно. Когда Шишкина спрашивают: что станется с тобой после смерти? он

отвечает: „я не умру“. Когда же к нему пристанут с теми же вопросами, выраженными на его языке, он отвечает тоже вопросом: „А что делается с домом, когда хозяин бросает его и уйдет жить в другое место?“. Из этого можно было бы вывести, что он признает какую-то жизнь духа, после разлучения его с телом. Но, будучи допрошен обстоятельно, он развивает ту теорию, которая только что изложена мною. Тем не менее, Не-наши признают дух, отдельный от тела. Да и трудно было бы ожидать другого при тех сведениях по естествознанию, которыми они владеют. Стоит прочитать „Анимизм“ Тэйлора, чтобы видеть, что на известном уровне знаний, дуалистическое представление об особенном духе есть самое философское понятие, какое только может составить себе человек, для объяснения *снов* и других сродных с ними явлений. Построив свое миросозерцание с самым ничтожным числом реальных (не говорю научных) данных, почти исключительно при помощи критики писаний да собственных размышлений, Шишкин внес в это миросозерцание множество метафизических бредней собственного изобретения, множество своеобразных толкований внешних явлений. Самый процесс выработки этого миросозерцания и достигнутые результаты поселили в Шишкине чрезмерное уважение к уму, или духу, вообще, и к собственному, в частности. Он считает, что дух, отказавшийся от веры, от закона, от обычая, от всего навязанного ему извне, и очистивший себя долгою практикою самосозданной *разумной* и *доброй* нравственности, делается способным видеть ясно будущее, еще темное для людей, объятых тьмою предрассудков и погрязших в дурную жизнь. Шишкин плохо различает разницу между *пред*видеть умом и *про*видеть духом. Он думает, что люди *доброго* рода далеко провидели в будущее. Так, его бабушка, по его словам, провидела освобождение крестьян, введение гласного суда с присяжными и всесословной воинской повинности. В особенности ясно видит дух *доброго* человека, когда он бывает свободен от телесных оков, т.-е. во сне. Шишкин верит в вещие сны. Он даже не говорит: я видел *во сне*, а просто говорит: „Я *видел* то-то и то-то“, точно дело было на-яву. На основании виденного им сна, он упорно предсказывает Лопатину [1]) побег, имеющий увенчаться успехом.

---

[1]) В „Современнике“ (№ 1, с. 72) восстановлено следующее примечание, выброшенное редакцией „Вперед!“, вероятно, по тактическим соображениям: Единственному „государственному“ арестанту в нашем остроге. („Политическими“ у нас называют исключительно

Как я уже сказал, Не-наши не считают себя „человеками“, потому что из анализа каких-то выражений писания они вывели, что „человек“ значит „ложь“, а они считают себя поборниками правды и истины.

Что касается до писаний, то когда Шишкин не дразнит „православных“, а рассуждает хладнокровно, то он говорит, что бо̀льшая часть св. книг написаны людьми *умными* и *добрыми*; что эти книги были писаны в начале или ими самими, или с их слов. Но после переписчики исказили их или по глупости, или, всего чаще, под влиянием „князей мира сего“, которые имели интерес вставлять в них разные правила в свою пользу. Шишкин думает, что в св. книгах содержатся наставления, как жить по правде, и объяснения того, что *будет*, данные людьми с *просветленным* духом. К сожалению, эти люди облекли свои наставления и предвидения в *притчи*, чтобы быть понятнее, а люди обыкновенные приняли эти *притчи*, или символы, за сущность. Отсюда вышли все бессмыслицы, проповедуемые попами. „Ты думаешь, *Троица*—это и в самом деле *три лица божьи?*— спрашивает Шишкин. — Неправда. Это просто *власть военная, гражданская и духовная.* Как ты думаешь,—*законная жена* это что такое? Это *вера*. Про нее сказано в апокалипсисе: „и на звере жена, и чаша в руце ее преисполнена мерзостей и блудодеяния“. А что такое *блудницы?* Это вот еретики, сектанты, что отказались от „законной-то жены“ и „блуждают“ в поисках за истиной. А что такое *девственник?* Ты думаешь, и в самом деле, это тот, что с бабой не живет? вздор: это дело *потребное*, от природы. А это тот,

---

поляков). Лопатин не скрывал от него своего намерения бежать при первом благоприятном случае. И вот, когда его вызвали в окружный суд, он зазвал Шишкина к себе в камеру, чтобы проститься. Обнимая Лопатина со слезами на глазах, Шишкин почувствовал под рукою что-то твердое и сразу сообразил, что это револьвер. „Послушай, старик!—заговорил он трогательным, умоляющим голосом—он звал „стариком“ не только пожилых, но и уважаемых им людей, в том числе и Лопатина, хотя тому было тогда не более 27 лет:—послушай, старик! Не напускайся с легким сердцем на чужую жизнь!“—„Что ты! что ты, старик! Разбойник я, что ли! Но вернуться в тюрьму я не согласен и добром меня не возьмут!“—„Это другое дело!—воскликнул он и глаза его заблестели.—Свободу свою защищай изо всех сил, чем и как можешь! Она—твоя, и никто не в праве отнимать ее у тебя!.. Впрочем,—добавил он,—я знаю, что твое дело окончится благополучно. Сегодня ночью я видел тебя и тех ребят, что пошли в Якутку. (Каракозовцы первой категории, проходившие перед тем через Иркутский острог). Они сидели такие задумчивые, печальные, а у тебя лицо было ясное, светлое. Нет, я не боюсь за тебя!“—И это был их последний разговор.

который отказался от всякой веры и закона, кроме своих собственных; который живет сам с собой". В порядке нравственности, люди идут у Шишкина так: девственник, блудник, человек, прилепившийся к законной жене. Все апокалиптические подробности, по мнению Шишкина, суть замаскированные изображения не загробной, а здешней жизни: всё это вещи, которые или существовали, или существуют теперь, или скоро будут. Так „двенадцать апостолов, сидящих на двенадцати золотых престолах и судящих двенадцать колен израилевых", по его мнению, просто двенадцать *присяжных* в нынешнем суде и т. д. Также обращается Шишкин с ветхозаветными пророками. Всё это, по его мнению, люди, изображавшие в *притчах* существующие порядки и те порядки, которые они провидели своим просветленным духом. Но все их провидения всегда относятся к вещам, имеющим быть здесь, *на земле*, в *этой* жизни. Страсть видеть повсюду символизм заходит у Шишкина очень далеко. Выросши в сектантской среде, где религия составляет еще живой элемент, проницающий собою всю жизнь и окрашивающий в свой цвет все социальные институты и все самые ничтожные акты обыденной жизни, Шишкин думает, что и политический и общественный строй России находится в той же тесной гармонии с государственной религией; он думает, что некоторые религиозно-правительственные идеи проникают через весь государственно-социальный строй, отражаясь повсюду в самых мелких правительственных формах и общественных обычаях. Поэтому во всем: в названиях учреждений и лиц; в формальностях судопроизводства; в различной системе изображения орла на монете, в различные времена; в числе пуговиц на солдатском мундире; в перемещении, по новой форме, патронташа спереди на правый бок—словом, во всем, решительно во всем, он видит символизм: религиозный или нравственный. Многие из его объяснений замечательно остроумны и оригинальны; но жаль места и времени для передачи их; да и припомнить не легко. Во всех их пропасть оригинального ума, проницательности, сообразительности, находчивости, истраченных на тщательную обработку самого неблагодарного, самого ничтожного реального материала. Эта страсть открывать всюду символы некоторых идей дает Не-нашим внешнее сходство с *мистиками,* хотя это далеко не то, так как, по их понятиям, эти символы сознательно созданы людьми, систематически-проводящими свои религиозно-правительственно-социальные идеи через все мелочи жизни. Не веря

в загробную жизнь, Шишкин не верит и в страшный суд, в христианской его форме. Но он верит в страшный суд на земле, в великую борьбу *добра* со *злом*, при которой добро останется победителем. Борьба эта идет и теперь, но когда-нибудь наступит час решительной битвы. Шишкин считает, что истина имеет бо́льший удельный вес и силу, чем ложь. „Одно зернышко правды перетягивает целую уйму кривды“. Он считает, что, раз появившись, истина (правда, добро) быстро разрастается и не может не задавить современем лжи (кривды, зла). Мне как-то не случалось спрашивать Не-наших, откуда, по их мнению, произошло зло, и потому я ничего не могу сказать по этому поводу. Но относительно предстоящей борьбы добра со злом я много слыхал от них, так как они имеют очень определенные представления даже о главных перипетиях этой борьбы. Надобно сказать, что Шишкин по-*своему* знает русскую историю и даже немножко и всеобщую, что поновее, частью на основании разных раскольничьих сказаний, частью на основании изустных преданий и слухов. Эти изустные народные слухи и собственные соображения послужили ему материалом и для его представления о ходе отечественного прогресса, — представления, отличающегося крайней своеобразностию. Шишкин убежден, например, что крестьяне освобождены по требованию Наполеона, на основании секретной статьи мирного договора. На основании того же договора, наш „державец“ *обязался* ввести гласные суды и всесословную воинскую повинность. Шишкин утверждает, что во всех государствах есть Не-наши, и что число их увеличивается с каждым днем. (По дороге в Сибирь Не-наши прослышали про существование „нигилистов“ и очень обрадовались, причисляя их тоже к Не-нашим). Шишкин утверждает, на основании разных *достоверных* источников и соображений, что все „державы“ обязались взаимным договором высылать своих Не-наших в одно место, где они могут жить по-своему. Поэтому Шишкин считает, что правительство недостойным образом *смошенничало* с ним, не исполнив по отношению к нему обязательного для него договора и сослав его, под предлогом бродяжничества, в Сибирь, вместо того, чтобы отправить его в условленное в договоре место, куда оно отправило, будто бы, остальных Не-наших, судившихся в Саратове. Но, по мнению Шишкина, когда число Не-наших увеличится настолько, что они перестанут составлять индивидуальные исключения, и когда державы увидят, что высылка—неудо-

влетворительный паллиатив, они пожелают истребить их поголовно и объявят им войну à l'outrance в своих владениях, причем будут расстреливать их без всякой пощады. Но это не поведет ни к чему. Истина живуча, и число ее приверженцев будет увеличиваться не по дням, а по часам. Настанет великая борьба, в которой истина, правда, добро одержат победу. Произойдет отделение „овец от козлищ". Добрые выделятся, завоюют себе право на особое существование и устроят свой *рай* здесь, *на земле*. Злые выделятся в особые общества, которым предстоит погибель, не потому, чтобы добрые стали нападать на них или чтобы кто-нибудь стал их мучить на манер христианских адских чертей, но по следующим двум причинам: часть их убедится и перейдет к добрым; остальная же часть сама себе устроит *ад* на земле, в котором они мало-по-малу *сами съедят друг друга*, в силу постоянной взаимной вражды. На земле настанет царство правды и добра. Я спрашивал Шишкина— не Америка ли та страна, куда их велено высылать? Оказывается, что он знает и про Америку. „Там,—говорит он,— жить *свободно*; но все-таки люди живут там *под законом*; это не то". Как видите, несмотря на дикость многих представлений Не-наших, в них проглядывает и понятие о солидарности людей добра и истины *во всех странах*, и понятие о солидарности всех земных правительств, и отрицание государственности (даже в виде подзаконной свободы), и предчувствие великой борьбы масс с „державцами" всего мира.

Перехожу теперь к социальным убеждениям Не-наших. Начнем с семьи. Не-наши проповедуют *свободу любви*. Они не признают ни религиозного, ни гражданского брака, *обязательного* для брачущихся. Женщину считают независимою, полноправною личностью, свободной выбирать себе „друга по сердцу" и любой образ жизни и форму деятельности. У них нет слова *брак*. Нет слова *жена*, а *подруга*. Не правда ли это — многозначительное выражение, указывающее на характер взаимных отношений? Но Не-наши думают, что, при полном нестеснении чувства и воли, люди *естественно* выделятся семьями. *Собственности* Не-наши не признают ни в какой форме. Что бы вы ни попросили у Шишкина, если у него есть, он непременно даст. Но надо, чтобы это было что-нибудь „потребное": пища, одежда, деньги на действительную нужду. На вино, табак, карты и т. п. „непотребства" он ни за что не даст ни полушки. „Я лучше ее за окно выброшу, — говорит он, — чем буду помогать тебе *отравлять себя самого*" Благодарности он не

принимает. Скажут ему „спасибо“, а он отвечает: „пусть *тебя* твой *бог* спасает: а я-ко и сам спасусь“. Скажешь „благодарствуй!“, а он: „а что-ка это значит — благодарствуй? Глупое слово! взял, съел, или надел, и ступай себе!“ Если кто-нибудь потчует его с'естным или дарит ему что-нибудь из одежды, он берет, буде ему нужно, но *никогда не благодарит*. Разве иной раз скажет: „это ты *доброе* сотворил“, и то в виде похвалы, поощрения, а не благодарности. Экономический идеал Не-наших соответствует низкому уровню той экономической культуры, из которой они вышли. Они, повидимому, мечтают о такой жизни, где каждый трудился бы *для себя*, добывая из почвы всё, что ему потребно, и изготовляя сам, в виде домашних фабрикатов, всё, что не добывается прямо из почвы. Их идеал — это мужицкое хозяйство, которое не обирается ни государством, ни барином и члены которого не идут ни зачем „в люди“: всё имеется дома. Излишек идет тем, у кого случится недохват. Но быть может, что я тут заблуждаюсь, так как из других выражений можно понять, что они мечтают о совместном производстве и о пользовании продуктами его „по потребностям“. Ниже я скажу, почему тут возможна ошибка. Не-наши питают отвращение к *обязательному* труду во всех его формах. Не-наш ни сам *не пойдет внаймы*, даже под угрозою смерти, ни другого *не наймет* для своих услуг. Обмена, торговой справедливости они не признают: „нужно тебе что-нибудь? я могу тебе дать? бери! — Нужно мне что-нибудь? ты можешь мне дать? дай!“ вот и всё. Как образчик их взгляда на свободу личности и собственности, вот рассказ одного из них, Караулова, о допросе его прокурором:

— Это жена твоя? — спрашивает меня прокурор.
— Нет, говорю, не жена.
— Да ведь ты живешь с нею?
— Так что же что живу? а все-таки не жена.
Бабу спрашивает:
— Это муж твой?
— Нет.
— Да как же так?
— Да так просто: я его желаю.
— А я желаемого не отвергаю, — молвил я тут.
— А он говорит после этого:
— Ну, это ваша дочь?
— Нет.
— Но она *ваша?*
— Как *наша, от нас*, но *не наша*. Она сама *своя*.

— Что, говорит, ты за дурак! Шуба эта на тебе *твоя?*

— Нет, не моя.

— Да ведь ты же ее носишь?

— Ношу; а ты возьмешь, да и скинешь ее с меня, — какая же она моя? Ты скажешь: шуба моя, а я скажу — моя; а овечка скажет — моя; как же мы поделим ее? А тем более живой человек — как может быть мой?! У меня своего только сердце да разум. Больше ничего нет. — Так мы и спорим, пока не велит в тюрьму увести. Таскали нас, таскали, — ровно 8 лет! И где-то мы не высидели!.. Наконец, вот заслали сюда, разорив до ниточки!..

По некоторым внешним чертам, Не-наших можно принять за *индивидуалистов. Повидимому,* их не связывают никакие общие узы. Спросите у кого-нибудь из них: много ли их? он ответит: „я *один*". — Как один? а другой-то твой товарищ? — „У меня нет товарищей. Я один". — Никогда ни один из них не скажет *мы.* Они, *повидимому,* избегают друг друга; стараются жить в разных камерах и, *при людях,* почти не говорят друг с другом, за исключением самых необходимых вопросов и ответов. Но надо знать, с каким горячим участием заботятся они друг о друге *втайне.* Причина этой странности лежит в тех диких политических убеждениях, о которых я упоминал выше. Они убеждены, что „державцы" *обязаны* договором отправлять в известное место всех, кто *начисто* откажется от *всякой* веры и закона. В то же время они думают, что „державцы" готовы употребить всяческие натяжки, чтобы смешать их с „сектантами", т.-е. с людьми, признающими хотя *какую-нибудь* веру и закон, и, под этим предлогом, не исполнить своего обязательства по отношению к ним, а оставить их у себя и мучить их дома. Они воображают, что „державцы", придираясь к словам писания: „где убо два или три собрани во имя мое, ту и я посреди их", утверждают, что как только имеется хотя два или три человека, связанные между собою во имя одного общего им убеждения, так тут имеется и *бог* и *секта,* а следовательно, эти люди не подходят под условия договора. На этом нелепом основании, Не-наши находят необходимым стоять *с виду* каждый за одного только себя. Отсюда их *кажущийся* индивидуализм. Так толковал мне Шишкин. Поэтому-то я сказал, что я не решаюсь высказаться определительно насчет их экономического идеала. Когда Шишкин говорит чиновникам: „Зачем вы меня здесь держите? Я в вашей пище и одеже не нуждаюсь. Я сам себе всё добуду. К вам не приду попросить" и т. п., — то он, следуя

своему всегдашнему правилу, говорит за *одного себя*. А разговаривать с ним специально о том, как Не-наши намерены жить в своей Икарии, мне как-то не доводилось. Осталось переданное выше общее впечатление, но никаких характерных частностей.

К словам: вера, закон, власть, устав, обычай, правило — Не-наши питают решительное отвращение; в особенности же слова: вера и закон наводят на них какой-то суеверный ужас. Они проводят свои понятия с непреклонною суровостью в каждую мелочь жизни. Это истинные аскеты и мученики своих убеждений. Не-наш ни за что не обратится к покровительству закона или облеченного властью лица, хотя бы от этого вышла ему великая польза. Он предпочитает лучше страдать, чем обратиться к людям и учреждениям, которые он не признает. По этому поводу у Не-наших выходили презабавные сцены с Лопатиным, про которого я упоминал в прошлый раз. Так как Лопатин официально отказался от православия и религии вообще, заявив на следствии и суде, что он не принадлежит ни к какой религиозной секте, и так как его политический образ мыслей и похождения были достаточно известны в остроге, то он пользовался большой симпатией со стороны Не-наших. Но они находили, что для того, чтобы быть „совершенным", ему следовало бросить сочинять разные докладные записки, жалобы, протесты и т. п., с помощью которых он надеялся, более или менее безуспешно, выкрутиться из той щели, в которую его заткнули.

— И для чего ты все *чертишь?* — с упреком убеждал его Шишкин. — Для чего ты все ссылаешься на *законы?* Сам говоришь: я не признаю ни их, ни их законов, а сам требуешь, чтобы тебя судили по закону! Знаешь, что сказано в писании: „От закона не оправдаешься". А ты все стараешься оправдаться от *их* закона. Сказал бы им: я не ваш; ни вас, ни ваших законов я не признаю: судите меня как хотите. А ты всё: закон да закон! А они тебя на этом и ловят. „Ты просишь судить тебя *нашим* законом?—значит, ты признаешь *наш* закон?—значит, ты признаешь и тех, кто его начертил? значит, ты — *наш!* А если ты *наш,* то мы с тобой *по-нашему* и поступать будем!" Вот что они тебе скажут! Ты дал им палец, а они уж уцепили тебя за руку; потом и всего съедят. Зачем ты откликаешься на свое имя? Сказал бы им: имя-то вы мне дали, — и возьмите его себе! оно ваше, а я не ваш; я вас не признаю и законами вашими оправдываться не хочу. А то ты вон *руку прикладываешь!* А они тебя за руку-то и хватают! Нехорошо!"

Нельзя не согласиться, что, со стороны последовательности, Не-наши были правее Лопатина, который обращался со своими требованиями к власти, которой теоретически он отказывал в своем признании, и опирался на законы, над которыми он практически издевался при каждом удобном случае...

Расскажу, в заключение, пришедшую мне на память смешную историю, как острожный поп собирался *обращать* Шишкина.

— Послушай, сын мой! — начал он.

— Какой я тебе сын, когда я на 10 лет тебя старше? — возразил Шишкин.

— Брат о Христе! — поправился поп.

— Чорт тебе брат, а не я! — ляпнул Шишкин; — вот тот чорт, который в конторе бумаги чертит.

— Вот что̀, друг!.. — заволновался поп.

— Какой я тебе друг? Кто такой называется „друг“, — знаешь ли ты? Ты посмотри-ка в свою книжку; там сказано: „тот, кто душу свою положит за други своя“. Так вот, если ты мне друг, сядь здесь за меня, а я уйду. Если же ты на это не согласен, так ты мне не друг, и не называй меня так.

Поп плюнул и ушел.

Скажу еще несколько слов по поводу пропаганды. Понятно, что пропаганда такого учения, требующего от своих адептов большого нравственного мужества, даже геройства, не может идти быстро. Шишкин уверяет, что он „знает только себя“, что ему „нет дела до других“, что он не интересуется распространением своих взглядов; „когда меня вопрошают, я ответствую; вот и все“, говорит Шишкин, но понятно, что это только *отвод*, обусловленный вышеизложенными политическими фантазиями Не-наших: ведь деятельная пропаганда тоже один из признаков „сектантства“; а власть не дремлет и караулит, как бы поймать Не-нашего на какой-нибудь оплошности. На самом же деле, на всякое искреннее „вопрошение“ Шишкин „ответствует“ крайне горячо и убедительно. Тем не менее число новообращенных невелико... За время пребывания Шишкина в нашем остроге многие арестанты пробовали „не-нашить“. Но первая же порция розог быстро обращала их в православие. Устояло всего трое. Один из них зовется Николай Иванов. Он болгар родом. Служил в Турции казаком под начальством Садык-паши. Потом дрался с турками во время греческих восстаний. Разбойничал в греческих и славянских шайках. Занимался контрабандой на русской границе. Взят

в России и, под бродяжеским именем Николая Иванова, засужден и сослан в Сибирь. Здесь, в остроге, обратился в Не-наши. Он сидит в тюрьме и по настоящую минуту. Второй—старик из поселенцев. За что он попал в острог,—не знаю. Имени его также не помню. Обратился в остроге в Не-наши. По окончании дела, его приговорили к каторге и сослали на Кару. Там его пробовали заставлять работать, но он упорно отказывался, не смотря ни на карцер, ни на оковы, ни на диэту, ни на розги. Его приковали к тачке и стали *выволакивать* на работу вместе с тачкой. Он лежал или сидел подле тачки и ничего не делал. Как-то надзиратель подскочил к тачке и начал его бить в одиночку, не запасшись предварительно военным караулом. Не-наш поднял лежавшую неподалеку кайлу, хватил ею его по голове и убил наповал. Его судили полевым судом, приговорили к смерти и затем не то повесили, не то расстреляли. Третий Не-наш из новообращенных—тоже старик. Имя его и фамилию я позабыл. За что он попал в острог,—не знаю. Знаю только, что он обратился здесь в Не-наши не на шутку. По окончании дела его сослали на каторгу, в Усолье. На другой день по прибытии на завод он бежал. С тех пор о нем ничего не слышно. Вот вам и всё, что я знаю о здешних Не-наших.

Летом прошлого года я читал в „СПБ. Вед.“, что в Саратове судились за богохульство, неуважение властей и т. п. какие-то „молчальники“, прозванные так за отказ отвечать перед властями. Я сейчас же догадался по внешним признакам, что это должны были быть тоже Не-наши. Шишкин подтвердил эту догадку. Оказалось, что он даже знавал когда-то обоих подсудимых. Саратовский прокурор произнес по этому поводу блистательную речь, в которой убеждал присяжных (чуть ли не из крестьян) „строго отнестись к такому возмутительному факту“, „показать этим людям, что общество умеет заставить уважать свою религию“, „не признавать никаких смягчающих обстоятельств, так как они уничтожаются упорством подсудимых в своем поведении даже перед судом“ и т. п. Я не помню хорошенько подлинных выражений молодого мерзавца, но помню то отвратительное впечатление, которое произвела на меня эта речь. Впрочем, вы можете разыскать ее сами во „Всероссийской Пенкоснимательнице“. Оба подсудимые—Карауловы, муж и жена—были приговорены в Сибирь. Теперь они находятся в нашем остроге, но мне не случалось толком говорить с ними. Когда поговорю, то напишу, если услышу от

них что-либо интересное. Знаю только, что они из тех турецких русских, о которых я упомянул выше и которые переселились в Россию по вызову правительства, обещавшего им свободу веры и так чудесно сдержавшего свое обещание.

Вы спрашиваете новостей о ссыльных по политическим делам. Право, нечего прибавить к тому, что я писал вам в прошлый раз [1]). Впрочем, вот вам новость: на-днях вернулся из Вилюйска начальник временного управления, над политическими ссыльными, ездивший туда вследствие какого-то доноса. Говорят, что он произвел там обыск в 10 домах и отобрал у Чернышевского 300 руб., очутившиеся каким-то образом у него в руках.—Теперь, вместо Кузьмина, состоит для надзора за Чернышевским жандармский унтер-офицер Фома Черкесов, тоже очень хорошо знающий Лопатина. Это, между прочим, тот самый жандарм, который предупредил свалку при поимке Лопатина после его первого побега. Когда при поимке дежурный унтер-офицер Ижевский бросился с проклятиями на Лопатина, обнажая свою саблю, а тот, в свою очередь, бросился на него, Черкесов дал шпоры своей лошади и растолкнул ею их обоих в разные стороны, дав время подбежавшим солдатам разнять их окончательно.—Мы, впрочем, посмеиваемся над тою заботливостью, с которою здешнее начальство систематически назначает в Вилюйск таких жандармов, которые хорошо знают Лопатина. Я думаю его теперь к нам и калачом не заманишь!?

Позднее мы получили от того же корреспондента другое письмо, в котором он сообщает нам, что дело Шишкина и В. Иванова, наконец, окончилось; что их выпустили на поселение и поселили где-то по якутскому тракту, что из них Шишкин, кажется, уже ушел искать свою Икарию. Затем он рассказывает, что Караулова и его жену призывали в полицию и объявили им, что они свободны и могут, буде пожелают, возвратиться в Россию. Людей проморили в тюрьме 8 *лет*, разорили до тла, сослали к чорту на рога, измучили, истиранили, и всё это для того, чтобы сказать им в конце-концов: вы свободны; это была ошибка; и вы пострадали так себе, за здорово живешь!—Ну, ничего... правосудие!..

---

[1]) См. корреспонденцию „Из Иркутска“, напечатанную во „Вперед!“, т. II (1874), отд. II, стр. 105—115, и перепечатанную в настоящем сборнике—см. выше стр. 91—101.

Письма Г. А. Лопатина редактору газ. „Daily News“ и Александру II по поводу „амнистии“ 9 янв. 1874 г. [1]).

„...Так, немало восторгов в нашей прессе и в иностранной вызвала великодушная *амнистия*, дарованная некоторым государственным преступникам 9 января, по поводу семейной радости императора. Приводим пункты этого „милостивого“ распоряжения. В нем значится, что император „...соизволил даровать лицам, подвергшимся по 1 янв. 1871 г. обвинениям в государственных преступлениях, если они не совершили после того каких-либо новых преступлений и не были замечены ни в чем предосудительном, нижеследующие облегчения:

1. Состоящим ныне в разряде сосланных на житье, с лишением всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, и находящимся как в Европейской России, так и в Сибири, даровать прежние личные права состояния, распространив оные и на законных детей их, прижитых после осуждения родителей.

2. Тем из таковых лиц, кои находятся в Сибири, дозволить, если пожелают, переселиться в одну из внутренних губерний, по назначению правительства.

3. Тех же, которые находятся в Европейской России, освободить от надзора полиции на основаниях, какие установлены 3-м пунктом всемилостивейшего его императорского величества повеления 13 мая 1871 года об облегчении участи некоторых преступников.

4. Освобожденным по настоящее время от надзора полиции, на основании означенного пункта высочайшего повеления 13 мая 1871 г., предоставить право поступления на государственную службу в тех местностях, где им дозволено свободное проживание, и

---

[1]) Оба письма Г. А. Лопатина напечатаны в III томе непериодического обозрения „Вперед!“ (Лонд. 1874 г.), отд. II—Что делается на родине? и составляют часть статьи: „Благодушное правительство и его лакеи“ (с. 92—95). „Амнистия“ политическим преступникам, вызвавшая много толков в заграничной и русской прессе, была „дарована“ Александром II по случаю бракосочетания его дочери, в. кн. Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. Письмо Л-на вскрывает истинный смысл этой „милости“. Беспокоясь об участи Л-на, арестованного в Петербурге в 1879 г., И. С. Тургенев писал П. Л. Лаврову 12 апр. 1879 г. именно об этом письме: „Лопатин оскорбил лично А(лександра) Н(иколаевича)—это не прощается“ („Былое“ 1906, № 2, с. 219).

5. Подобным же освобожденным от надзора лицам, которые были удалены с места жительства без лишения прав, дозволить возвратиться на родину".

Для уяснения этого государственного акта приводим письмо, посланное одним из наших друзей, русским эмигрантом Германом Лопатиным, по этому поводу в „Daily News" и нам сообщенное им в оригинале.

„Милостивый государь!

„Пересматривая английские газеты за последнее время, я был крайне изумлен тем значением, которое они придали маленькому фарсу, разыгранному русским императором по поводу свадьбы его дочери. Я говорю о той амнистии, которою он пустил пыль в глаза цивилизованной Европе, и которой Европа, вследствие незнакомства с тонкостями языка русских указов и законов, придала более широкое значение и бо́льшую важность, чем она на самом деле заслуживает. Я почел бы себя счастливым, если бы мне удалось вывести английскую печать из ее заблуждения и представить это дело в его истинном свете.

„Вот верный перевод самого указа об амнистии (при этом следовал перевод самого указа):

„1) Прежде всего заметим, что под словами: „обвиненные ранее 1 янв. 1871 г." указ разумеет—„обвиненные *перед судом*"; а потому амнистия не распространяется на тех, которые, хотя и были арестованы по обвинению в государственных преступлениях задолго до 1871 г., но подверглись обвинению *перед судом* только после 1 янв. 1871 г. Вследствие этого, амнистия не распространяется, например, на бесчисленные жертвы последнего, так-называемого „Нечаевского" процесса. Вследствие этого же, амнистия не распространяется на тех лиц, которые, будучи арестованы много лет тому назад, до сих пор томятся в тюрьмах, в ожидании суда. Эти выводы не только вытекают прямо из самого текста амнистии, но и подтверждаются всеми теми частными сведениями, которые я имею из России.

„2) Для английского читателя не лишнее будет заметить, что в России мы имеем два рода ссылки: одна—ссылка просто на *житье*, с лишением всех *особенных* прав, каковы, напр., дворянство, чины, ордена и т. п.; а другая—ссылка на *поселение*, с лишением *всех гражданских прав*. Не трудно видеть, что амнистия распространяется только на лиц первой, между тем как все сколько-нибудь серьезные государственные

преступники принадлежат ко второй. Амнистия не распространяется на Чернышевского, который был осужден в начале 1864 г., еще при *старых* формах судопроизводства, с вопиющим нарушением всякой справедливости, всякого правосудия,—нарушением, удивившим даже привычную ко всему Россию, и который потом был всегда тщательно исключаем из всех амнистий. Амнистия не распространяется на т.-н. „каракозовцев“, осужденных в 1866 г. Другими словами,— она не распространяется *ни на одного человека*, осужденного по сколько-нибудь важному делу. Одним словом, если эта амнистия имеет еще некоторое значение, то только для *поляков*, находящих себе защиту и поддержку в симпатиях иностранных держав. Из *русских* же под нее подходят только несколько студентов, компрометированных четыре года или более тому назад и подвергшихся сравнительно очень легким наказаниям; да из них, как мы видели выше, не подходит под амнистию целая масса молодежи, припутанной к так-называемому Нечаевскому делу.

„3) Но самая соль амнистии заключается, конечно, в первом же параграфе, который говорит, что она распространяется лишь на тех из обвиненных ранее 1 янв. 1871 г., которые не только „не совершили после того каких-либо новых преступлений“, но и „не были замечены (конечно, администрацией) ни в чем предосудительном“. Нет надобности говорить, что это распоряжение совершенно уничтожает всё значение амнистии,—как бы ничтожно оно ни было само по себе,—ставя ее применение в полнейшую зависимость от произвола администрации. Русское правительство, по своей всегдашней привычке, дает одной рукой и отнимает другой.

„Я надеюсь, М. Г., что, после всего вышеизложенного, Вы не найдете странным, что, в самом начале этого письма, я назвал новую русскую амнистию бесстыдным фарсом, сочиненным с целью пустить пыль в глаза цивилизованной Европе“.

Во время пребывания русского императора в Лондоне оттиск того, что было напечатано в „Daily News“, был послан автором (едва ли не понапрасну) в Букингэмский дворец при следующем письме:

To His Majesty the Emperor of .the Russia. Buchingham Palace, London.

„Милостивый Государь!

„Вероятно, ваша скромность была сильно смущена теми нелепыми, преувеличенными толками, которые были выражены иностранною прессою по поводу вашей последней амнистии,

распространяющейся исключительно на поляков, издавна находящих себе защиту и поддержку в симпатиях иностранных держав, и обходящей почти совершенно ваших собственных подданных; а потому вы, конечно, будете признательны человеку, взявшему на себя труд вывести иностранцев из этого заблуждения.

„Мне очень жаль, что обилие других неотложных занятий не позволило мне напечатать, ко времени вашего приезда в Лондон, ряд других заметок, имеющих целью показать кое-какие образчики русского правосудия,—хотя бы на примере Чернышевского, осужденного за *заговор*, в котором он *один* был и зачинщиком, и членом, и выполнителем, и подвергающегося с той поры неслыханным притеснениям и жестокостям; а также познакомить иностранцев с некоторыми другими эпизодами „кроткого“ царствования „благодушного“ русского монарха. Я постараюсь искупить этот промах в возможно скором времени помещением этих эпизодов в английских и французских газетах.

„Позвольте мне, М. Г., по поводу последних происшествий с вашим проворовавшимся племянником [1]), выразить вам мои искренние поздравления с тем, что члены вашего семейства грешат до сих пор только воровством (если не ошибаюсь, это *второй гласный* случай?), а не какими-либо человечными идеями и чувствами, возбуждающими с вашей стороны столь основательные антипатии и столь суровые преследования“.

Герман Лопатин.

29, Wynford Rd., Islington, № 15 мая.

Насколько нам известно, письмо это, как и следовало ожидать, по адресу не дошло, но было подшито к делу нашего друга и вызвало против него усиленное раздражение.

IV.

А. П. Щапов [2]).

Вы просите меня собрать мои воспоминания о моем покойном друге и поделиться ими с читателями Вашего журнала. Поистине, я нахожусь в большом затруднении.

---

[1]) Г. А. Лопатин намекает на кражу бриллиантов вел. кн. Николаем Константиновичем, о чем говорится в той же статье „Благодушное правительство и его лакеи“ (с. 91—92).

[2]) Статья о А. П. Щапове напечатана в газете „Вперед!“ 1876, № 34, от 1 июня (20 мая), с. 337—341, без подписи автора. Принад-

Известие о смерти Щапова поразило меня своей неожиданностью, и мне нужно большое усилие воли, чтобы думать и говорить о нем, как о покойнике. Едва я обращаю мысль назад, ко времени моего иркутского пленения, мне мерещится, точно живое, это худощавое, нервное лицо, полное жизни и одушевления, эта страстная, яркая речь, эти резкие, порывистые движения... и я просто не в силах поверить, что этот человек, из которого внутренняя жизнь била ключом во все стороны, недвижно покоится теперь на бедном, гористом иркутском кладбище, на которое я так часто и так подолгу глядел безучастным взором из-за решетчатого окошка острога.

Конечно, вы не ждете от меня оценки Щапова, как литературного деятеля. Во-первых, его литературные труды, по крайней мере многие из них, находятся у всех перед глазами. Во-вторых, подобная задача требует времени, а вы меня торопите. Не ждите от меня также и сколько-нибудь полной биографии этого человека. Предупреждаю вас заранее, что я очень мало знаком с его жизнью до нашей встречи. Все, что я знаю по этой части, я знаю так же, как и вы и всякий другой, не столько из его собственных рассказов, сколько из общественных слухов. Не удивляйтесь этому. Когда Щапов столкнулся со мною, он был так рад найти, в окружавшей его пустыне, человека, разделявшего его взгляды, симпатии и стремления и интересовавшегося занимавшими его вопросами человека, с которым он мог бы поменяться мыслями о злобе дня и грядущем, что ему не было охоты пускаться в область воспоминаний [1]). Когда я узнал его, это был не старик, спокойно пережевывающий сладкие подробности былого, а полный жизни человек, глубоко волновавшийся настоящим — горячо боровшийся за будущее. Я стоял приблизительно в таком же положении. Я рвался к нему, как к единственному человеку, с которым я мог вполне откровенно поговорить о своих насущных заботах, о своих и общих невзгодах, о своих и общих надеждах и о своих затеях. При обилии материалов для беседы, мне

лежность ее Г. А. Лопатину устанавливается на основании редакционного примечания, в котором сказано, что статья передана в редакцию Лопатиным, а также на основании содержания. Со Щаповым Г. А. Лопатин познакомился и сблизился во время своего пребывания в Иркутске. Окончание статьи в печати не появлялось.

[1]) В письмах к друзьям Щапов называл Г. А. Лопатина одним из своих самых симпатичных знакомых (*Н. Я. Аристов*—А. П. Щапов, СПБ. 1883, стр. 114).

как-то не приходило в голову расспрашивать его об его прошедшем или рассказывать ему о своем. Мы горячо спорили о всяком явлении минуты, заглядывали по мере сил в будущее: но до нашего личного прошедшего касались лишь мимоходом, когда приходилось к слову. Если бы я мог думать, что мне не доведется увидеть его больше! Но кто мог вообразить себе это тогда? Мне было 25 лет, ему — 40. Правда, он всегда был страшно худощав, худощав, как Рошфор, цвет лица у него был пергаментный, в его длинных, кудрявых волосах сильно проглядывала седина: но я не помню, чтобы он хотя однажды пожаловался на какое-либо нездоровье. Он бывал всегда до такой степени поглощен своими мыслями, своими работами, литературными и общественными интересами, что ему не оставалось как-то времени думать о себе. Сам он не жаловался ни на что: понятно, что другим казалось, что он совсем здоров и проживет еще годы и годы. И вот, теперь пред нами его могила?! Повторяю, — не ждите от меня сколько-нибудь полного и обстоятельного биографического очерка этой жизни. Я не могу сообщить вам из этой области ничего, кроме немногих одиночных фактов, о которых мне приходилось случайно слышать от него. Единственная вещь, которую я могу обещать вам, это постараться передать вашим читателям то впечатление, которое производил на меня этот человек. Хотя и это дело не легкое. Впечатления эти так еще свежи. Не отрицая вечной разлуки, я отдавался им непосредственно, не пытаясь анализировать их. И вот теперь мне приходится взяться за эту горькую работу так неожиданно, так быстро.

А. П. Щапов был сыном бедного деревенского дьячка. Ангинская волость, в которой он родился, принадлежит к числу самых бедных, пустынных и удаленных уголков Иркутской губернии. Детство его ничем не отличалось от детства беднейших крестьянских детей. Он участвовал с своей семьей во всех крестьянских работах: пас скот, помогал убирать сено, хлеб, работал по хозяйству и пр., как все крестьянские ребятишки. Так что про него можно сказать, что он был истинным сыном народа, к которому он до конца своих дней сохранил глубокую и живую привязанность. Начальное образование он получил, как кажется, в иркутском духовном училище, как большинство детей бедного духовенства. Затем он учился в казанской семинарии, куда был послан с другими лучшими учениками, и, наконец, в казанской же духовной академии. Как кажется, по окончании курса, он был оставлен при академии по кафедре русской истории. Каким

образом он прошел в профессора Казанского университета, я хорошенько не знаю. Знаю только, что первая же его лекция вызвала живейший восторг у его слушателей, что он сразу сделался идолом студентов и что вся его кратковременная профессорская деятельность была для него рядом триумфов [1]).

Подробностей его участия в так - называемой бездненской истории я тоже не знаю. Знаю только, что он был арестован и доставлен в III Отделение. Вместо ответов на допросные пункты, он написал свою profession de foi и закончил ее страстным воззванием к государю в пользу народа. Он указывал на ужасное положение народа, на возможность исхода, на величие задачи государя в виду таких обстоятельств, на возможность для него стяжать бессмертные лавры в истории и пр. Записка была написана резко на ты, и в то же время ужасно страстно. Для себя автор не просил ничего,—ни освобождения, ни пощады. Он желал одного,—чтобы его откровенное слово, — чем бы оно не отразилось на нем лично, — открыло государю глаза на истинное положение дел и указало ему на истинный, славный путь. Не забудем, что Щапов чуть не накануне только выбился из-под гнета религиозного мистицизма, полновластно царствовавшего над его душой в первой молодости, что он стоял в то время скорее на почве великих метафизических принципов 1789 года, чем на научно-реальной почве новейшего социализма, что он, в своей ревности неофита, только что прозревшего свет истины и добра, воображая, будто бы всякий человек и во *всяком* положении немедленно превратится, подобно ему, в ревностного поборника правды, как только ему покажут, где оно,—благородное заблуждение, в которое он склонен был впадать всю свою жизнь. Не забудем также, что это было около того времени, когда „Современник", с Чернышевским во главе, верил еще в реформы сверху; когда Герцен обращался к императору, а Бакунин проповедывал „крестьянского царя".

[1]) Щапов был выбран профессором русской истории в сент. 1860 г. по предложению проф. Н. А. Попова. Его вступительная лекция была на тему: „Общий взгляд на историю великорусского народа".—См. о ней в наиболее полной биографии Щапова, составленной Г. А. Лучинским и помещенном в третьем томе „Сочинений А. П. Щапова". Спб., 1898, с. XXX—XXXII. В ун—те Щапов оставался не долго, т. к. 30 апр. 1861 г. был арестован по дороге в Петербург за речь, произнесенную на панихиде по крестьянам, расстрелянным в с. Бездне.—См. в той же биографии, с. XXXVI—LVII и ст. Попельницкого в „Голосе Мин." 1917, № 9—10. (Панихида по убитым крестьянам в с. Бездне).

Нет надобности говорить, что Щапов не обратил императора в того народника, но правдивый и горячий голос искреннего „заблуждения“ тронул государя. Начальству, повидимому, показалось, что время и размышление охладят пыл юности и превратят горячего, правдивого и благожелательного молодого человека в доброго верноподданного, видящего служение отечеству в безукоризненном „прохождении“ коронной службы. Щапов был освобожден из заключения. Вернуться к профессуре ему не позволили. Возвращение в Казань ему тоже было запрещено, и он был оставлен под полицейским надзором в Петербурге. Но закрыть ученой деятельности ему не хотели (вероятно, считая ее наиболее отрезвляющей); он был прикомандирован к министерству внутренних дел, и пред ним раскрылись архивы этого министерства по всем делам, касающимся раскола. Но это милостивое расположение к Щапову продолжалось недолго. Его книжечка „Земство и раскол“ (1862) скоро показала начальству, что он смотрит на вещи далеко не глазами правительства. К тому же начальство давно уже заметило, что Щапов продолжает систематически вращаться в „дурном обществе“ (подлинное выражение тогдашнего шефа жандармов), т.-е. в обществе сотрудников „Современника“ и т. п. живых элементов тогдашнего времени. И вот, благожелательное начальство, обманувшись в своих ожиданиях и сердясь на сделанную ошибку, внезапно, без всякого повода, ссылает Щапова на житье в Иркутск, где и держит его до самой смерти, несмотря ни на какие ходатайства влиятельных лиц.

Эта ссылка отразилась самым тяжелым образом на литературной деятельности Щапова. Конечно, он продолжал трудиться неутомимо. Я не помню, чтобы мне случалось заставать его иначе, как за письменным столом, в котором бы часу дня я к нему ни зашел. Но всё его трудолюбие и настойчивость постоянно разбивались о недостаток необходимых материалов. Вы сами знаете, как важны для человека работающего в выбранной им себе специальности, большие книгохранилища и архивы. А что можно найти по этой части в глухом провинциальном городишке, обитатели которого на столько погружены в служебные дрязги, сплетни, пьянство и картеж, что не в состоянии поддержать даже самой обыкновенной сколько-нибудь порядочной библиотеки. Щапову пришлось довольствоваться привезенными с собой выписками, сделанными в архивах в лучшие времена, книгами и материалами иркутского отдела Географического общества,

да редкими и случайными присылками из Петербурга от бывших друзей и поклонников. Только тот, кто сам бывал заброшен волею судеб в какой-нибудь далекий медвежий уголок нашего отечества или за границу, знал по собственному горькому опыту всю некорректность, безучастие и забвение, на какие способны люди, которых он считал когда-то своими политическими и личными друзьями. Щапову пришлось испить эту горькую чашу до дна. Материальное положение его было крайне тяжело. Работал он неустанно. Но помещение для работ находилось туго. Переговоры тянулись месяцы и годы. Письма оставались без ответа. Из того, что он посылал в Петербург, попадала в печать едва одна десятая часть, да и та порядочно урезанная и искалеченная смелою и тяжелою рукою редакторов. Впрочем, для всех, сколько-нибудь знакомых с положением литературного дела в России и с нравами наших литературных предпринимателей и подрядчиков, распространяться об этом лишнее. Деньги получались с трудом и неправильно, после всяческих хлопот, и то частями: выбросят кусок и опять прижмутся. Моменты полного безденежья представляли для Щапова явление хроническое. А у него была еще на руках вечно больная жена, — его единственная и неизменная опора и поддержка, несмотря на ее постоянные болезни. Когда Щапова решили сослать, эта женщина — тогда еще девушка (Ольга Мелиоранская), — преданная его взглядам и его личности, последовала за ним в ссылку [1]). И здесь, для отвращения официальных придирок, они обвенчались. После того она продолжала оставаться подле него, несмотря ни на бедность, ни на постоянные лишения, ни на суровый климат, который действовал самым гибельным образом на ее слабую организацию, в которой, кажется, гнездились все болезни на свете. Вечно страдающая чем-нибудь, она относилась к этим страданиям с замечательным стоицизмом и постоянно готова была забывать их для общественных вопросов, для идей и планов своего мужа. Она вполне разделяла его убеждения и горячо входила во все его литературные, общественные и личные планы, которыми он постоянно делился с нею. Одним словом, она была ему умным, верным и преданным другом [2]). Я слышал, что ее смерть (случившаяся уже

---

[1]) Жена Щапова—Ольга Ивановна Жемчужникова—рано осталась круглой сиротой и воспитывалась у своего дяди И. А. Мелиоранского.

[2]) Умерла О. И. Щапова 13 марта 1874 г. Статья о ней ее мужа — во втором томе собрания его сочинений, изд. 1906 года, с. 1—30. О светлой

без меня) сильно сразила его, и, быть может, ускорила и его собственную кончину. Тем не менее, постоянные ее болезни тяжело отражались на материальном положении обоих супругов, и без того уже печальном. Приходилось прибегать к займам, да и те не всегда оказывались возможными, несмотря на все хлопоты и страдания: так что частенько приходилось, что называется, биться как рыба об лед. Я уже говорил, что многие влиятельные личности в Петербурге, а также оба восточно-сибирские генерал-губернаторы, Корсаков и Синельников, не раз ходатайствовали о переводе Щапова в один из университетских городов России для предоставления ему возможности продолжать свои ученые труды. Но мстительная власть никогда не могла забыть, что этому человеку удалось когда-то невзначай растрогать ее, и никогда не хотела простить Щапову этого момента своей слабости. Все ходатайства оставались безуспешными.

Я, как истинный сын своего отечества, коренные обитатели которого испокон веку привыкли *бегать* от притеснений властей предержащих, не раз указывал ему на это средство. Но он отвечал мне: „я боюсь, что я не буду в силах жить вне России: я слишком привязан к ней всем своим существом; притом же даже здесь я хотя что-нибудь да делаю, хотя на что-нибудь да полезен, а что я буду делать за границей?“ Под конец, до нас дошли туманные слухи, что за границей не то основалось, не то близится к основанию новое, крупное, свободное русское издание. Называли даже имя редактора, человека мне лично и близко известного [1]). Я возобновил свои поджигательные речи. Щапов сильно колебался; а жена его так положительно перешла на сторону побега. Ей тяжело было смотреть, как гибнет задаром такая крупная сила от недостатка необходимых средств к труду и от невозможности свободно высказывать свои идеи. Она многого ожидала от заграничной деятельности. Но, зная детскую непрактичность своего мужа, она была уверена, что если он возьмется за это дело сам, то непременно попадется и только ухудшит свое положение. „Вот если бы вы взялись за это дело“, говорила она мне, „то я стала бы гнать его отсюда изо всех сил“.

личности О. И. Щаповой и ее роли в жизни А. П. см. в указ. биографии, с LXIV—LXVI, LXXXV—VCIII.

[1]) Речь идет о двухнедельном обозрении (газете) „Вперед“, первый номер которого под редакцией П. Л. Лаврова вышел 3 января 1875 г.; с Лавровым Г. А. Лопатин сблизился после того, как в 1870 г помог ему бежать за границу из Кадникова.

Конечно, я охотно обещался; но прежде надо было подумать о том, чтобы выручить себя самого. Я бы никогда не решился захватить его с собою, так сказать, по дороге. Я знал, какая суматоха подымется после моего побега, как бешены будут поиски и как трудно будет, укрывательство. Человек с такой резко заметною наружностью и ухватками, как Щапов, связал бы меня по рукам и ногам и был бы причиной нашей общей гибели. „Вот погодите,—говорил я ей,—дайте мне самому проскочить за пограничную черту, отдышаться, оправиться, размять онемевшие члены и сообразить обстоятельства. В возможности и даже легкости побега, при данном положении, я убежден вполне. Всё дело в 500 – 600 руб., да в толковом помощнике, если мне самому нельзя будет показать сюда носу. А это всё вещи плевые“. Я бежал благополучнейшим образом и вспомнил свое обещание. Но вещи, которые я называл „плевыми“, оказались не совсем-то такими, и дело затянулось. Между тем я послал Щапову программу „Вперед!“ и письмо от его редактора с предложением участвовать в издании корреспонденциями и статьями. Я писал также и от себя лично. Мой приятель, передавший ему всё это, сообщил мне, что он принял очень горячо сделанные ему предложения и немедленно отвечал мне и редактору „Вперед!“. Но ответ его не был получен нами, так как он, по свойственной ему непрактичности, вместо того, чтобы послать его через то лицо, которое доставило ему мое письмо, послал его более прямым путем через кого-то из своих петербургских друзей. Друзья оказались верными своему характеру, и письмо застряло. После этого обстоятельства сложились, наконец, благоприятно. Я написал жене Щапова и предложил ей свои услуги, если она и муж ее смотрят по-прежнему на дело о побеге. Но мое письмо уже не застало ее в живых. А Щапов, пораженный горем, сказал моему приятелю, что он никогда не пойдет от могилы своей жены. После этого мои сношения с Иркутском временно затруднились и на меня свалилось много хлопот другого рода. Я на время потерял Щапова из виду. И вот теперь совершенно неожиданно узнаю о его смерти. Подробностей его болезни и кончины я не знаю никаких [1]). Мне ничего еще не писали с места по этому поводу. Случайно, даже тот газетный номер, в ко-

[1]) А. П. Щапов умер 27 февраля 1876 г. О нем книгу проф. Н. Я. Аристова (СПБ. 1883 г.) и обстоятельную статью Г. А. Лучинского в „Собрании сочинений“ Щапова, том 3-й, с. I—CIX. Спб., 1908 г., там же указана и мелкая библиография о А. П. Щапове.

тором было помещено известие о смерти Щапова, не попал мне как-то в руки, и я узнал впервые эту печальную новость из вашего письма.

После Щапова должно было остаться множество рукописей. Весь кабинет его был загроможден при мне наваленными одна на другую стопами исписанной бумаги. Желательно было бы знать, куда денется теперь всё это. Он готовил громадный труд,—нечто в роде культурной истории России с древнейших и до нынешних времен. Его последние статьи в „Отечественных Записках“ и в „Деле“ были лишь краткими отрывками из этого огромного труда. Бедному труженику так и не довелось выполнить своей заветной идеи.

Вот вам сухой, голый скелет жизни Щапова, поскольку она известна мне самому. Теперь я расскажу вам о моем знакомстве с ним и о тех впечатлениях, которые я вынес из этого знакомства.

V.

Воспоминания об И. А. Худякове [1]).

В 1866 году, когда я знал Ивана Александровича Худякова, ему было на вид лет 27. Коротки мы между собою не были; и потому не ждите от меня больших подробностей. Впрочем, буду рассказывать, *что* и *как* вспоминается. Худяковы родом сибиряки. Но сам Иван Александрович родился, кажется, во внутренней России, чуть ли не в Веневском уезде Тульской губернии. По крайней мере я слышал, что у него были родные и короткие знакомые между помещиками этого уезда, и что собранные им пословицы, песни, сказки и другие произведения народного творчества запи-

---

[1]) „Воспоминания об И. А. Худякове“ напечатаны в газете „Вперед!“, двухнедельное обозрение (год второй), 15 (3) дек. 1876 г., № 47, с. 745—750 без подписи автора. Принадлежность этой заметки Лопатину устанавливается на основании следующего редакционного примечания, помещенного в № 46 „Вперед!“: „Номер был уже почти весь набран, когда мы получили в ответ на нашу просьбу „Воспоминания об И. А. Худякове“ нашего товарища Г. А. Лопатина, которые и поместим в следующем номере“... Помимо ценной характеристики Худякова, воспоминания о нём Г. А. Лопатина имеют и чисто автобиографическое значение, главным образом, о прикосновенности Л—на к Каракозовскому делу. О ней сам Лопатин на допросах в следственной комиссии сообщал намеренно ложные сведения (см. стр. 19—27 настоящего сборника), а П. Л. Лавров в биографическом очерке о Лопатине высказывался в слишком туманных выражениях. См. „Процесс 21-го. Женева 1888, и брошюру—*П. Л. Лавров*, „Г. А. Лопатин“. Петербург. Изд. „Колос“, 1919 г., с. 18—21.

саны главным образом в деревнях этого уезда. Чуть ли у матери его не было там маленького именьица; во всяком случае, у ней был домишко в Туле. Отца Иван Александрович потерял очень рано и рос на попечении матери-старухи, которой он был единственным сыном. Воспитывался он, если не ошибаюсь, в Тульской гимназии. Он очень рано стал интересоваться русской историей вообще и народным творчеством в частности, и первое его произведение по этой части было написано еще на гимназической скамье и тогда же заслужило очень лестный отзыв со стороны Буслаева, который обратил серьезное внимание на молодого человека, и ободрял его к продолжению так удачно начатого ученого пути. По окончании гимназического курса, Иван Александрович поступил на историко-филологический факультет Московского университета, и продолжал свои самостоятельные исследования на студенческой лавке. Он с большой любовью занимался сравнительной мифологией и сравнительным языкознанием, особенно первой, и был ревностным почитателем Гриммов, Макса Мюллера и других лингвистов этого направления. Его объяснения некоторых созданий народной фантазии, на основании этой теории, страдают теми же натяжками, которые постоянно встречаются у представителей этой школы, и в особенности у российского, ее адепта, г. Буслаева. Иван Александрович окончил курс кандидатом в очень молодых годах. Чуть ли он даже не магистрировался; но я не убежден в этом. Знаю только, что Буслаев и другие ученые столпы возлагали на него большие надежды, которых он не оправдал в их глазах [1]).

Как и для чего очутился он в Петербурге,—право, не знаю. Знаю только, что я столкнулся с ним там в 1866 году, после возвращения его из-за границы, и что он проживал там в то время в качестве домашнего учителя, принужденного день-деньской мыкаться по частным урокам. Это был худощавый, болезненный, крайне нервный человек, невысокого роста, с жидким голосом и с жидким же блеском в маленьких беспокойных глазках. Его съеженная фигурка постоянно что-то высматривала, к чему-то прислушивалась, зачем-то озиралась по сторонам, на что-то оглядывалась. Внимательный наблюдатель не мог не видеть в нем натуры подвижной, деятельной и фанатической. Это не был фана-

[1]) Сведения, сообщаемые Г. А. Лопатиным о раннем периоде жизни Худякова не верны. См. брош. „Ив. Ал—др. Худяков. Опыт автобиографии". Женева 1882 г., и ст. Е. Боброва, научно-литерат. деятельность Худякова в „Журн. Мин. Нар. Просв." 1908, № 8, с. 193—240.

тик сурового и важного типа, то величественно молчащий в сознании того, что не стоит марать даже уст своих разговором с окружающими, то злобно и гневно гремящий против них. Нет, это был фанатик юркий, хихикающий, разговорчивый и „покладистый“. Однако, под этой кажущеюся „покладистостью“ опытный наблюдатель усматривал настоящего аскета и фанатика, упрямо преследующего одну завладевшую им идею.

Он принадлежал и душой и телом московскому кружку заговорщиков [1]) и составлял центр петербургского отделения этого общества. Несмотря на то, что схема так-называемого каракозовского заговора отводила на первое время самому народу очень мало места в насильственной перемене его участи, однако большинство каракозовцев были настоящие народники, питавшие реальные симпатии к народу, к черни, стремившиеся пропагандировать ему свои взгляды при каждом удобном случае и готовые помогать и материально, и нравственно даже отдельным единицам, пока не пробил еще час помочь за-раз всей массе путем низвержения давящего на нее гнета. Худяков шел в этом отношении чуть ли не впереди всех других своих товарищей. Компания, которой он был душою, постоянно обучала грамоте разных отставных солдат, мастеровых и т. п. людей. Понятно, что эти занятия грамотою, происходившие на частных квартирах, не ограничивались этою скромною целью, но переходили в беседы гораздо более поучительного свойства. К этому времени относится полный переворот и в литературной деятельности Худякова. Вместо лингвистических исследований он принимается за популяризирование для народа имеющегося знания. Он пишет книжки для народных школ, книжки *цензурные*, но тем не менее говорящие, в опытных руках, о многом не особенно-то цензурном. Таков его „Самоучитель“, впоследствии изъятый из обращения и сожженный. Таковы его „Рассказы о старинных людях“ (маленький курс древней истории), разошедшиеся очень быстро без остатка. Таковы же „Рассказы о великих людях“ (4 биографии — Вашингтона, Беранже и не помню еще кого), тоже вышедшие из продажи. Наконец, такова же его „Древняя Русь“, тоже отобранная и сожженная [2]). Эта последняя книжка

[1]) Московский кружок Н. А. Ишутина, в состав которого входили Д. В. Каракозов, И. Д. Ермолов, Н. И. Странден, Д. А. Юрасов, М. Н. Загибалов, В. Н. Шаганов, П. Ф. Николаев и др.

[2]) Согласно автобиографическому указанию Ф. В. Волховского („Друзья среди врагов“. К—во „Нар. Воля“. Спб. 1906, с. 4), книжка Худякова „Древняя Русь“ была издана в 1868 г. так наз. „Рублевым

была необыкновенно удачно составлена и пользовалась в известных кругах большой репутацией. За исключением нескольких страничек предисловия, понятных только для самих учителей, всё остальное было написано языком в высшей степени удобопонятным и приятным для народа. Где можно, автор постоянно говорил или подлинными словами современных свидетелей или характерными пословицами и поговорками того времени. Конечно, это была не история князей и царей, а история *народа,* и, несмотря на всю свою цензурность, оставляла в заключение страшно горькое чувство в душе всякого мало-мальски не заскорузлого читателя. Маленькая хрестоматия „Самоучитель“ тоже была подобрана таким образом, что оставляла в чтеце, даже без подсказываний учителя, порядочный запас горечи и неловольства, и легко шевелила мысль в критическом направлении по отношению к современной жизни. Все лица, преподававшие в народных школах по книжкам Худякова (а таких лиц было немало), единогласно уверяли меня в их чрезвычайной успешности и в необыкновенной любви, с которою относились к этим книжкам и малолетние, и взрослые ученики. Худяков никогда не *подражал* так-называемому *народному* языку и никогда не уснащал своей речи разными „значит“, к „примеру будучи сказать“ и т. п. *недостатками* народной речи, этими *заиканиями* народа, непривыкшего к связному выражению сколько-нибудь сложного рассуждения. У него вы не найдете ни одного из этих *украшений* в народном стиле, придающих многим так-называемым *народным* книжкам их народный *колорит в наших* глазах, но делающих их совершенно неудобочитаемыми *для самого народа.* Он обладал большим мастерством рассказывать и рассуждать с помощью *отдельных кратких речений,* легко схватываемых самым плохим грамотником, неспособным справиться со сколько-нибудь длинным периодом. Если не ошибаюсь, перу того же Худякова принадлежала и маленькая заграничная брошюрка, украшенная крестом и озаглавленная „Слово св. Игнатия“ или просто „Св. Игнатий“. Это был сборник священных текстов (с точными указаниями на цитируемые места), говорящих против царей, властей, господ, богачей и всех современных зверских порядков [1]).

Обществом“, основателями которого были в 1868 г. он и Г. А. Лопатин. О „Рублевом Обществе“ и о привлечении Лопатина по делу о нем см. стр. 27—43 настоящего сборника.

[1]) Точное заглавие брошюры: „Для истинного христианина“, сочинение Игнатия. Женева, 1865. В 1893 г. вышло второе заграничное издание.

Повторяю, — близок с ним я не был. В период самой деятельной пропаганды его в Петербурге я находился в провинции. Когда же я вернулся назад в Петербург, заговорщики считали дело близким к развязке, к началу конца, а потому хлопотали о практических частностях и считали неблагоразумным тратить драгоценные минуты на вербовку таких личностей, приобретение которых требовало времени и усилий. А я казался ему именно таким человеком, как он объяснял позже. На теоретические *прощупывания*, я заявил полнейшее недоверие к тому, чтобы насильственная смерть государя, при отсутствии сколько-нибудь сильной революционной партии и при тогдашних обстоятельствах, могла вызвать в народе какие-нибудь *смуты*, а главное, чтобы подобные смуты, если бы они и произошли, могли повести к чему-нибудь путному, кроме усиления реакции. Это мнение, выраженное в очень сильной форме, заставило его бросить дальнейшее нащупывание. Кроме того, мой скептически-насмешливый ум и веселый характер вообще не внушали ему большой симпатии. Но когда разразилась буря, когда все товарищи начали быстро пропадать один за другим и когда ему самому с часу-на-час угрожал арест, он объяснился со мной на чистоту и просил меня, как человека некомпрометированного ничем, кроме личных знакомств, взять на себя временное ведение обезлюженного дела. Надо было перехватить кое-какие заграничные и внутренние письма; известить кого следует о положении дел и прекращении навремя сношений; сберечь заведенные пути для доставки заграничных изданий и т. д., и т. д. Я это и делал до моего собственного ареста [1]). Когда я был выпущен на свободу, а Худяков окончательно осужден, он доставил мне несколько сведений, с просьбою связать уцелевшие остатки организаций; но для того момента всеобщей паники это оказалось невозможным. После того я не имел уже никаких сношений с ним, за исключением одного письма из Верхоянска, в котором он просил о высылке ему кое-каких книг. Книги были посланы, но ответа получено не было.

Под следствием Худяков держался твердо и не дал засудить себя так, как того хотелось комиссии. В то время весь Петербург говорил об одном из арестантов, которому при допросе разорвали рот. Это происшествие было, именно,

[1]) Ср. рассказ П. Л. Лаврова об этом периоде жизни Г. А. Лопатина (*П. Л. Лавров*, Г. А. Лопатин. Изд—во „Колос". Петр., 1919, стр. 18—21) и особенно письмо Лопатина к Синельникову (стр. 65—67 настоящего сборника).

с Худяковым. Недовольный сорвавшимся у него выражением, он оторвал клочок бумаги, на котором оно было написано, и сунул его в рот. Следователь Никифораки (тогда офицер Измайловского полка, а ныне преемник Мезенцева в звании начальника штаба корпуса жандармов) налетел на него как коршун и, с помощью подоспевших конвойных, начал добывать у него изо рта этот несчастный клочек; причем действительно надорвал ему углы рта и порядочно помял его самого. Из числа всех осужденных, наказание не было смягчено государем только трем человекам: Маевскому, как поляку и человеку, не пожелавшему подписать просьбы о помиловании; Марксу, как наставнику юношества, обманувшему доверие начальства, и старику, далеко перешедшему за возраст юношеских увлечений; и Худякову, как человеку, приговоренному к такому наказанию, которое, по нравственному убеждению комиссии, было слишком слабо сравнительно со степенью участия его в деле—степенью, которая не могла быть доказана *юридически* только благодаря упорству и ловкости преступника. Зато начальство постаралось сделать его *поселение* худшим всякой каторги, заслав его в Верхоянск, якутское местечко, лежащее в 1000 с чем-то верстах к с.-в. от Якутска.

Худяков был женат. Он и А. М. Никольский (сосланный по тому же делу в Мезень) женились фиктивным браком на двух сестрах Лебедевых, Леоканиде и Варваре, с целью избавить их от невыносимой семейной обстановки. Худяков сошелся впоследствии со своей женою и имел от нее ребенка. Обе молодые женщины были арестованы и держались прекрасно. Семнадцатилетняя жена Никольского выдержала продолжительное заключение, дошла до истерик, чуть ли не до падучей, но не дозволила превратить себя в орудие обвинения близких ей людей. Беременная Худякова тоже вынесла ужасные вещи. Доктора единогласно заявили, что дальнейшее заключение угрожает ее жизни. Но зверь Муравьев долго не соглашался сдаться на их представления. По его приказанию, она была подвергнута три или четыре раза самому щекотливому освидетельствованию через акушеров (между прочим в Мариинской и *Калинкинской* больнице) и, только после этих физических и нравственных пыток, была выпущена, наконец, на волю. Но все эти истязания не сломали ее упорства и ее мучители не могли добиться от нее ничего, кроме самых оскорбительных и резких выходок, брошенных им прямо в лицо. Зато их братец, А. Лебедев, держался настоящим мерзавцем и сообщал всё,

что знал или подозревал, не стесняясь по временам даже присочинением небывальщины. Так же и даже еще хуже, держалась и его тогдашняя гражданская супруга, А. Комарова, которая вешалась на шею жандармским офицерам и писала многотомные показания, сплетая были с небылицами. Вышедши на волю, отвергнутая всеми прежними знакомыми, она совсем перебежала в противоположный лагерь. В неудавшемся журнале некоего Богушевича было объявлено о скором появлении ее романа — „Из жизни петербургских нигилистов и заговорщиков", с эпиграфом: „свежо предание, а верится с трудом". Но оказалось, что для выполнения подобной затеи требуется не только страсть к доносу и клевете, но еще и некоторая литературная сноровка; и русской инсинуационной литературе так и не удалось обогатиться произведением этой почтенной особы. Показания А. Лебедева и А. Комаровой имели значительное влияние на дело Худякова. Зато попечительное начальство приняло большое участие в этой паре и, освободив их, пожелало совокупить их законным браком, назначив им посаженного отца из голубого легиона и выдав им 150 р. на первое обзаведение. Но А. Лебедев почему-то предпочел уклониться от Этого счастья и сочетался позже законным браком с некоей Ек. Гайос, в сообщничестве с которой он воровски обобрал в разных книжных магазинах деньги, вырученные за кое-какие издания, которые были сданы в эти магазины на их имена (ранее погрома и следствия) и доходы с которых были определены на разные общественные дела. На зло пословице, — „чужое добро в прок не идет", — милая парочка полегоньку разжилась и пошла в гору. В последний раз, когда я видел этого джентльмена, он владел на хозяйских правах переплетной мастерской и потискивал своих рабочих, как настоящий кулак.

После родов, и жена и ребенок Худякова заболели оспою. Ребенок умер, мать же выздоровела. Худяков не пожелал, чтобы жена последовала за ним в ссылку, хотя она и рвалась за ним. Мать его продала домишко и поехала в Сибирь; но по дороге, говорят, умерла. По крайней мере в Верхоянске Худяков всегда жил один, в якутской юрте, в сообществе двух казаков-якутов, их семей и домашних животных. Смягчений его участи не последовало. Он написал там якутскую грамматику, якутский словарь и еще какое-то сочинение. Все эти вещи он послал в Петербург, но они не дошли до назначения. Около 1869 года, если не ошибаюсь, он сошел с ума. Якутский губернатор трижды ходатайство-

вал о переводе его в сумасшедший дом, но получал каждый раз отказ. Позже его перевели-таки, повидимому, в сумасшедший дом в Иркутск (не ранее конца 1874 года), где он и умер, судя по русским газетам.

Вот всё, что я знаю об И. А. Худякове. Жалею, что не могу сообщить ничего большего. С этой стороны было бы лучше обратиться к г.г. Элпидину и Черкезову, которые знали его гораздо ближе, чем я, и могли бы сообщить о нем более подробные сведения.

Вот перечень его научных трудов, появившихся отдельными изданиями с именем автора: 1) Сборник великорусских народных исторических песен. М. 1860; 2) Великорусские сказки. М. 1860—1862; 3) Великорусские загадки. М. 1861; 4) Материалы для изучения русской народной словесности, СПБ., 1863; 5) Русская книжка. СПБ., 1863 (сказки, пословицы, загадки, песни, русские города, былины, стихотворения, рассказы, басни, народный месяцеслов). Как видите, ни одно из этих исследований не заходит за 1863 год, когда, очевидно, совершился перелом в направлении деятельности Худякова [1]).

VI.

Вместо внутреннего обозрения [2]).

Много времени ушло, много воды утекло с тех пор, как появился наш последний номер!.. Ослабленная крупными разгромами и насильственным удалением из ее среды наиболее выдающихся и опытных вождей, наша партия тяж-

---

1) „Русская Книжка“ уже выходит из разряда фольклористических сочинений Худякова и является первою его попыткою составить книжку для народного чтения, т. е. тесно примыкает к „Самоучителю“ и другим аналогичным изданиям Худякова.

2) Среди планов, намеченных Г. А. Лопатиным для восстановления партии „Народной Воли“, одним из самых важных являлся выпуск очередного—десятого—№ „Народной Воли“, не выходившей с февраля 1882 г. С большим трудом, в сент. 1884 г. удалось выпустить этот номер. Г. А. Лопатин пытался привлечь к сотрудничеству Н. К. Михайловского, помещавшего свои статьи, под псевдонимом „Гроньяр“, в первых номерах „Нар. Воли“, и, в частности, очень просил дать для 10 № „Внутреннее обозрение“. Но Н. К. Михайловский, наотрез отказавшись написать „Внутреннее Обозрение“, дал только статью, посвященную закрытию „Отечеств. Записок“. Внутреннее же обозрение с измененным заглавием „Вместо внутреннего обозрения“ было написано самим Г. А. Лопатиным.—См. подробнее ст. Е. Е. Колосова, К характеристике общественного миросозецрания Н. К. Михайловского— „Голос Минувшего“ 1914, № 2, с 227—228, и его же брошюру, „Н. К. Михайловский“, Петр., 1917, с. 60—61.

ко боролась за свое существование под неустанными ударами освирепевшего правительства и мучительно билась в сетях внутреннего предательства со стороны некоторых недостойных ее членов. Дорогие личности то-и-дело вырывались из ее рядов, наилучше задуманные планы разлетались, как картонные домики; едва устроенные учреждения проваливались одно за другим. Сколько раз, ценою неимоверных трудов, самопожертвования и усилий, мы добывали шрифты, строили станки, ставили почти полные типографии, собирали материалы, приготовляли статьи и т. д., и т. д. И что же?—в один прекрасный день всё это разлеталось прахомъ: типографии открывались, люди забирались, рукописи исчезали или становились понемногу устарелыми и несвоевременными и т. д. И вот, эта убийственная работа Данаид начиналась снова! Много нужно было энергии и веры в свое дело, чтобы не прийти в отчаяние, но снова и снова приниматься за тот же упорный и неустанный труд. Даже решительная расправа с Судейкиным и Дегаевым не сразу вывела нас из этого тяжелого и трудного положения. Во-первых, проклятая „дегаевщина“ роковым образом оставила свои страшные нравственные следы в уменьшении партиозной дисциплины и в ослаблении взаимного доверия между членами партии, — следы, с которыми нам неизбежно придется бороться еще долгое время. Естественно не доверяя вполне Дегаеву даже в самый последний период его деятельности, когда он отдал себя целиком в распоряжение партии, сам Исп. Ком. принужден был тщательно отделять еще чистых людей от людей, скомпрометированных прежним соприкосновением с Дегаевым, что, конечно, необходимо привело в начале к кажущейся розни и к взаимным недоразумениям, особенно в глазах людей, стоявших далеко от центра и поэтому плохо знавших весь ход этого печального дела. Последствия понятны сами собой. Так вот нам невольно пришлось бороться с этими последствиями и тяжко трудиться над переорганизацией наличных сил, прежде чем приступить к настоящему делу. Но и этого мало. Ни допросы Дегаева, ни последующие тщательные разведки Исп. Ком., понятно, не могли указать ему *всех* членов партии, оговоренных когда-либо разными трусами и предателями, но оставленных на время на свободе. Понятно, что эти лица, вращаясь и работая в нашей среде, нередко наводили за собой сыск и подавали повод к новым погромам и провалам, хотя и не таким грандиозным, как прежде. И вот, снова исчезали типографии, люди, рукописи и пр., и пр

Но „жив бог и жива душа моя!"—восклицаем мы словами одного библейского героя и снова идем на приступ. Нам важно показать, как можно скорее, правительству, обществу и товарищам, что мы еще живы, верим в успех и твердо намерены бороться за него, не покладая рук; а потому мы спешим выпуском этого номера, извиняясь перед читателями за его неполноту, устарелость, но не смущаясь особенно этими недостатками, в виду тех необычайно затруднительных условий, при которых мы выпускаем его в свет.

Устарелость большинства даваемых нами статей несомненна. Так, заявление Исп. Ком. о Дегаеве было подписано еще 21 декабря прошлого года [1]). Первая передовая статья была вручена редакции в конце того же декабря; 2-я передовая была написана в начале нынешнего марта, по случаю вопроса о „простонародном терроре", который волновал в то время партию [2]). Помещаемое, вместо иностранного обозрения, „Письмо из Парижа" писано тоже еще в прошлом году [3]), большинство официальных документов партии тоже не блистают свежестью. Наконец, те из корреспонденций, которые не были утрачены при провалах разных типографий, настолько устарели, что мы принуждены отказаться от их помещения и, быть может, напечатаем в выдержках только некоторые сколько-нибудь интересные места из них. Что касается неполноты этого номера, то она тоже неисправима, и мы сами сознаем это, и сильнее и живее, чем кто-либо. Прежде всего она сказывается в хронике бесчисленных арестов последнего времени и в отчетах о денежных пожертвованиях. Множество заметок об арестах и денежных отчетов утратилось при погромах; а потому поневоле печатаем пока только то, что нам удалось собрать до этой минуты, обещаясь пополнять вперед невольные пробелы, по мере возможности и накопления новых сведений. Затем всего более пострадало со стороны неполноты именно внутреннее обозрение. Не одно такое обозрение вместе с материалами пропало у нас при прежних попытках издать № 10. Собирать снова факты за этот длинный период и

---

[1]) Принадлежит перу Вас. Андр. Караулова.—См. Обзор важнейш. дознаниям... за время с 1 июля 1884 по 1 янв. 1885 г. (IX), с. 30.

[2]) Вопрос о „простонародном (фабричном и аграрном) терроре был введен в программу т.-наз. „Молодой Народной Волей" и особенно выдвигался П. Ф. Якубовичем.—См. *А. Н. Бах.* Воспоминания народовольца, „Былое" 1907, № 2, с. 198, 201—203 и *В. Бурцев.* Из моих воспоминаний, „Свободн. Россия" № 1 (февр.), 1889, с. 48—56.

[3]) Принадлежит перу А. Н. Баха.—См. Обзор важнейш. дознаниям. (IX), с. 30.

приводить их в стройную систему мы не имеем решительно времени: это значило бы отсрочить снова на довольно продолжительное время выход этого номера, что было бы совсем нежелательно по многим, весьма понятным причинам. К тому же, мы утешаем себя еще тою мыслию, что № 1 „Вестника Н. В.“ содержит в себе очень полное и живое внутреннее обозрение почти всего нынешнего царствования и может служить отличным вознаграждением за нашу неполноту по этой части.

Мы надеемся, что наши читатели примут во внимание выставленные нами соображения и простят нам наши невольные недостатки и пробелы.

Упомянув о внутреннем обозрении в № 1 „Вестника“, мы должны сознаться, что мы могли бы прибавить к нему очень мало нового, по крайней мере касательно *общего* политического положения дел внутри империи. Как в конце прошлого царствования, так и в нынешнем оно остается тем же, что и прежде. Русское самодержавие попрежнему стоит перед роковою, неразрешимою задачею: сохранить неприкосновенными свои старые прерогативы векового деспотизма, несмотря на веяние нового времени и сильно изменившиеся обстоятельства. Попрежнему, оно имеет пред собою два общественных фактора, с помощью которых оно обязано разрешить эту задачу сфинкса. С одной стороны, под ним распростерт бедный, обнищавший и невежественный народ, для которого так - называемый „просвещенный деспотизм“ был бы, может быть, *наилучшею* формою правления. С другой, перед ним стоит интеллигенция, очень мало отличающаяся по своему умственному развитию от интеллигенции Западной Европы, а потому нелишенная сознания личного достоинства и жаждущая втайне хотя каких-нибудь общечеловеческих, гражданских и политических „прав“, т.-е. ограничения самодержавного произвола в свою и народную пользу. Попрежнему, правительство обольщает себя химерическими, несбыточными надеждами подавить эти стремления, опираясь на преданность невежественных масс. Конечно, оно охотно смело бы с лица русской земли всю эту враждебную ему интеллигенцию и навеки помешало ее возрождению сызнова, прихлопнув окончательно всякую литературу, закрыв гимназии, университеты и т. д. Конечно, у него хватило бы сил сделать это. Но, увы! это невозможно. К несчастью, Россия граничит с запада с „образованными“ государствами, вследствие чего борьба с ними и сохранение своего положения великой державы требуют постоянной

наличности не только материальных, но и умственных сил. Ведь „по нонешнему времени“ даже военное дело и неразрывно связанное с ним финансовое управление и государственное хозяйство требуют большого ума, образования и знаний, т.-е. той же проклятой „интеллигенции“, столь враждебной самодержавному произволу. И вот самодержавие осуждено роковою судьбою готовить себе ежедневно своих будущих внутренних „врагов“! Конечно, оно охотно ограничило бы российское просвещение так-наз. прикладными науками, да изящной и даже распутной литературой, потребной для развлечения правящих классов. Это оно и делает по мере сил и возможности. Но, увы! успешное присвоение хотя бы прикладных наук требует предварительно *общего* научного образования и развития; а общее развитие приносит с собою понимание окружающего мира, критическое отношение к его несовершенствам, чувство личного достоинства, сознание своего долга перед народом, вкус к личному и общественному почину, отвращение к произволу, насилию и т. п. „превратные“ идеи и стремления.... И вот, правительство усердно, но бессильно бьется все время над неразрешимою задачею: создать себе неинтеллигентную интеллигенцию. Напрасные усилия! Просвещение и наука имеют свою обязательную логику, которая неотразимо приводит их адептов к известным неизбывным выводам, не имеющим ничего общего с поддержкою самодержавия, и порождают прямо враждебную ему интеллигенцию. Одна — наиболее молодая, свежая, чистая, последовательная и энергическая часть ее—бросается прямо в смелую непримиримую борьбу с правительством. Другая — более трусливая и эгоистичная часть — пускается в погоню за наживой и житейскими наслаждениями, предоставив опасную борьбу с произволом своим самоотверженным товарищам. Третья—самая низкая и развращенная часть — поступает, правда, на службу правительства, но лишь ради той же наживы и житейских наслаждений, а отнюдь не в силу веры в правоту защищаемого ими порядка и выполняемого ими дела, т.-е. с полным отсутствием тех внутренних условий, при которых только и возможно верное и успешное проведение какой бы то ни было системы. Понятно, что эти „рабы лукавые и неверные“ поспешно разбегутся во все стороны при первом серьезном несчастии с их господином, что это сознает и сам господин, т.-е. правительство. Тем не менее, ради собственного самосохранения, оно должно довольствоваться хоть такими слугами и всячески заботиться об увеличении их

числа и об истреблении интеллигенции иного типа, что оно и делает с величайшим старанием. Напоминать относящиеся сюда факты положительно не стоит, так как они слишком хорошо известны каждому, кто следит за правительственными распоряжениями и прислушивается к литературе и общественным слухам и толкам. Поощряя прикладное знание, терпя изящную литературу безобидного свойства, власть беспощадно опрокидывается на науку и литературу всякий раз, когда они обнаруживают самомалейшую попытку к пробуждению в публике честной мысли и живого общественного чувства. Блестящим заключительным финалом этой стороны правительственной деятельности может считаться недавнее закрытие столь любимых публикою „Отеч. Зап.“, по поводу чего мы даем ниже особую статью [1]).

Отношение правительства к университетам, как к рассадникам будущей интеллигенции, тоже слишком хорошо известно, хотя бы из истории нескончаемых переделок университетского устава. А в последнее время власти не постыдились открыто объявить все студенчество подозрительным и неблагонадежным.

Как известно, попечитель Киевского учебного округа, не стесняясь ни свободою гражданского договора в денежных и т. п. сделках, ни даже *семейным* правом, запретил воспитанникам средних учебных заведений жить не только в одной квартире, но даже в одном доме со студентами, хотя бы даже с *родным братом.* Спрашивается: можно ли идти дальше в откровенной вражде к интеллигенции? Спрашивается еще: что остается делать сколько-нибудь уважающей себя интеллигенции, как не объявить не только в интересах народа, но и в интересах *собственного* самосохранения, неумолимую войну не на жизнь, а на смерть этому правительству, поклявшемуся истребить все честное и живое в ее среде? И мы твердо верим, что брошенный правительством вызов будет понят, и что наши ряды никогда не оскудеют новыми интеллигентными борцами.

Но, может быть, безжалостно давя интеллигенцию, правительство облегчило хотя сколько-нибудь скорбную долю того народа, в котором оно справедливо видит пока свою главную или даже единственную опору? Действительно толки о реформе податей, об уничтожении паспортов, об

---

[1]) „Закрытие „Отечеств. Записок“—*Н. К. Михайловского*, перепеч. в X томе его „Полн. собрания сочинений“, с. 46—48 (Спб. 1913). — О ней выше — прим. 1-е. — *А. Ш—в.*

облегчении переселений, о содействии крестьянству в покупке земель и т. п. не прекращаются ни на минуту. Но— увы!—все эти благие затеи так и остаются одними затеями, или же, переходя в жизнь, тотчас же вырождаются в нечто совсем противоположное первоначальным намерениям. Дело в том, что правительство и тут стоит перед лицом той же роковой дилеммы: или не предпринимать ничего нового и путного, или же обратиться за помощью и исполнением к той же проклятой интеллигенции, которая так ненавистна ему и с которой оно и без того не знает, как справиться. Но, как мы уже сказали выше, лучшая часть интеллигенции прямо враждебна правительству и не пойдет помогать ему в лукавых затеях провести за нос народ. Другая ее часть просто сторонится от него и уходит в чисто личную жизнь. Таким образом ему остается только продажное, ленивое, наемное чиновничество, думающее только о получении жалованья каждое 20-е число, упорно уклоняющееся от всякой лишней работы и заботы, привыкшее только „отписываться" от всякого действительного дела и нисколько не печалящееся в глубине своей души ни о народе, ни даже о самом правительстве. Удивительно ли, что с такими помощниками и исполнителями дело не подвигается ни на шаг вперед, тогда как *подобные* дела требуют именно веры, любви, беззаветной преданности и искреннего, самоотверженного служения им, до забвения самого себя? Но правительство натыкается здесь не только на апатию, но и на прямое сопротивление со стороны своих приспешников. Ведь, вся эта челядь служит ему только ради своих корыстных интересов, которые, по бо́льшей части, противоположны интересам народа. Не может же правительство изобидеть и оттолкнуть от себя своих единственных слуг. И вот с высоты трона раздаются приснопамятные слова царя-народолюбца: „Не ждите ни передела земель, ни новой нарезки. Все останется, как было. Повинуйтесь вашим (?!) предводителям дворянства" [1]).

Постоянно обманываемый в своих ожиданиях и теряющий последнее терпенье, народ глухо бродит и беспокойно мечется, как зверь в клетке, не сознавая еще ясно основной причины своих бедствий, не видя средств помочь им и постоянно опрокидываясь лишь на ближайшие, частные поводы

[1]) Из речи Александра III к предводителям дворянства и волостным старшинам, произнесенной 15 мая 1883 г. на коронационных празднествах.

своих невзгод, всего ярче бросающиеся в глаза или всего больше задевающие его в данную минуту. Со всех сторон несутся горькие жалобы имущественных классов на самовольные порубки лесов, на насильственные захваты владельческих земель, на поджоги помещичьих усадеб, сена, хлебов и строений, на избиение и калечение скота, на акты насилия по отношению к управляющим и пр., на сопротивления судебным приставам и чинам земской полиции, доходящие нередко до кровавых побоищ, на поголовные стачки рабочих и вообще на подозрительное и опасное возбуждение масс, проявляющееся иной раз в таких ужасных формах, как антиеврейские беспорядки, не обошедшие даже такого чисто русского города, как Нижний-Новгород [1]). Мы далеки от того, чтоб видеть в этом смутном брожении начало победоносной народной революции. Но мы ясно видим, что народ изверился в правительство, что он исстрадался в конец, что он устал терпеть, что ему не в моготу более нести свой тяжелый крест, что он беспокойно бьется в своих узах, ища выхода, и что, поэтому, всякий громкий призыв к нему поговорить по душе „о своих нуждишках, о своих делишках и о разном прочем“ — глубоко всколыхнет народное море и вызовет в нем радостный отклик. Раздастся ли этот призыв с высоты трона, поколебленного ударами революционеров, или же он будет сделан самою партиею, захватившею на момент в свои руки правительственную власть, — это все равно. Мы твердо верим, что и в том, и в другом случае народ не пропустит мимо ушей обращенного к нему призыва,—что он сумеет сказать, где его жмет тесный сапог,— что он найдет вокруг себя людей, которые сформулируют его нужды, требования и желания в толковые „наказы“ его избранникам,— что он сумеет инстинктивно отличить друзей от врагов и что он поддержит всею дикою мощью непобедимой стихийной силы истинных представителей и заступников его интересов в недрах будущего Земского Собора. Мы твердо верим, что грядущая государственная реформа не может выродиться на нашей почве в чисто *политическую* „конституцию“, но непременно принесет с собою все те аграрные и иные экономические и социальные реформы, какие совместимы с нынешним умственным развитием человечества. Ибо только такая реформа или революция может

---

[1]) Антиеврейские беспорядки, кроме 1881 г., были в мае 1883 г. в Ростове на-Дону, в августе того же года в Екатеринославе и Нижнем-Новгороде, в ноябре — в Кривом Роге и в других городах.

найти себе опору в народных массах, во всенародном энтузиазме, без которого немыслимо никакое великое историческое дело, никакой крупный общественный переворот. А пока главная задача наша и наших товарищей, — в особенности же рабочих и сельских групп, — должна заключаться в том, чтобы пользоваться всяким случаем для выяснения народу, что основная причина всех угнетающих его зол лежит не в злодействе отдельных личностей, а в общем строе современного порядка вещей, опирающегося прежде всего на самодержавие правительства, мешающее народу выражать и выполнять свою волю или даже просто рассуждать всенародно о своих делах с целью улучшения своей жизни. Мы должны постоянно и неустанно указывать народу, что самодержавный царь и его приспешники явно не желают облегчения бедствий народа, да и не в силах облегчить их, если бы даже и желали, не призвав к этому делу самого народа.

Итак, с какой бы точки зрения ни посмотрели мы на нынешнее положение наших внутренних дел, с точки ли зрения интересов народа, или же интересов интеллигенции, все приводит нас к одному и тому же выводу: самодержавие отжило свой век,— оно не в силах больше принести ничего хорошего ни народу, ни обществу, — всякая дальнейшая минута его существования только безнужно удлиняет муки неопределенного переходного положения и увеличивает сумму народных и общественных бедствий; а потому, неустанная, неумолимая борьба против него, в лице всех его представителей, борьба без отдыха, без пощады и без перемирия,—есть священнейший долг всего живого и честного на Руси. Вот почему еще решительнее и энергичнее, чем когда-либо, повторяем мы свой старый клич: Carthago delenda est!

Чтобы не быть голословным в наших утверждениях насчет беспокойного брожения народных сил почти во всей России, приводим наудачу несколько фактов из самого последнего времени и относящихся исключительно к сфере аграрных отношений.

Наиболее интенсивная мелкая борьба народа с имущественными классами и представителями власти наблюдается в Уфимско-Оренбургском крае. Этот край положительно как бы на военном положении. Громадные лесные порубки, захват земель, поджоги, убийства, сопротивления властям — все это здесь самые заурядные явления. В совершении их иной раз принимают участие сотни людей. Иногда факты

подобного рода принимают крайне резкий характер и доходят до жестокости. Укажем для примера на несколько случаев сожжения живьем по несколько человек (управляющих, приказчиков, лесничих и т. д.) в заколоченных предварительно домах. Интенсивность и распространенность подобного рода явлений заставили перетрусившее уфимское дворянство потребовать прошлым летом от правительства „принятия чрезвычайных мер для защиты собственности и личности владельцев"! С течением времени движение все усиливается. В виду громадного числа известных фактов, мы останавливаемся только на одном уезде—Белебеевском. Здесь идет война не на живот, а на смерть между населением и казенными и частными лесниками. Порубки в сотни пней уже не принимаются в счет: они производятся по несколько тысяч пней. При порубках постоянно кровавые столкновения. В феврале шесть татар деревни Башиндов были оштрафованы за порубку; а вслед затем у Куюкинского лесника были зарезаны 10 овец и лошадь. Одному понятому д. Андреевки еле-еле не отрубили головы: он спасся только благодаря быстроте лошади. В половине февраля в лесу, прилегающем к д. Екатериновке и Анновке, крестьяне изрубили топорами двух стражников, несмотря на то, что последние были вооружены ружьями. В д. Шаран-Князеве стычки из-за леса сопровождались целым рядом убийств. Являлся сюда исправник, но едва унес ноги. Пришлось согнать несколько сот полицейских чинов; приезжали прокурор и губернатор, но князевцы покорности не обнаружили. Угон скота и поджоги хлеба здесь самое заурядное явление. Но бывают факты и гораздо любопытнее. Так, башкиры д. Слах в феврале разорили и сожгли до тла хутор барона Нолькена, разогнав сторожей, рабочих, и угнали скот, часть которого была затем зарезана и съедена. У доктора Бычкова на хуторе в Бакалинской волости убили приказчика; в одной из соседних деревень избили урядника и станового. Чиновников—членов крестьянского присутствия, землемеров, и т. д., являющихся производить размежевание и вообще „насаждать порядок",—население или гонит, или принимает самым оригинальным способом: „Твоя кто посылал наша?"—Присутствие, казна.—„А-а! казна, присутствие—ну, ты и гуляй по казна. Зачем наша пришел? Мы не звал!" —Землю от вас в казну.—„Зачем казну. Земелька наш, какой казну? Казна свой есть. А вот самовар твоя кипит, мы готовил; ямай мало — маласяй, потом здыхай (отдыхай), утро придет—гуляй казна, коли он твоя посылал,

а наша твоя не надо!“ И затем на утро выпроводят самым бесцеремонным образом. Ограничиваемся приведенными фактами, хотя список их можно было бы удлинить до бесконечности.

Другим районом с сильным аграрным движением является местность, охватывающая Донскую область, Екатеринославскую, Тамбовскую, Курскую губ., отчасти и Рязанскую, а затем Черниговскую и Полтавскую. Здесь практикуются в самых широких размерах поджоги помещичьего хлеба, сена и строений. Тут имели место любопытные случаи стачек сельских полевых рабочих, с целью оставления без уборки помещичьего хлеба или возвышения заработной платы, причем крестьяне опирались на свою общинную организацию. Вообще, отношения между здешними крестьянами и помещиками крайне обострены. В Екатеринославской губ., прошлою осенью крестьянское движение выразилось в усиленных поджогах, разрушении помещичьих домов и захватах земель. Первые весенние сведения из этого края указывают, что движение, направленное к захвату земель, началось снова. Из множества фактов, имевших место в Донской области, приведем только два. В слободе Макеевке Донецкого округа, крестьяне, стесненные землевладельцем и его приказчиком, сожгли 80 стогов сена, вырубили лес и затем, заманивши в лес приказчика, высекли его и, заткнув рот, привязали к дереву. Здесь он провисел более двух суток (дело было в феврале) и был случайно найден пастухом; приказчик тотчас же сбежал, а поступивший на его место держит себя значительно мягче. Вообще, крестьяне Донецкого округа в последнее полугодие энергично принялись за экспроприацию землевладельческой собственности. Они рубили лес, увозили к себе помещичий хлеб с полей, нападали на принадлежащие помещикам и скупщикам земель хлебные амбары и грабили их, нередко в виду самих хозяев. Дело не раз доходило до вооруженного сопротивления. В слободу Большинскую и соседние села для усмирения явился окружный начальник с целой сворой полицейских. Появление его страшно возбудило население. „Так он не за нас?.. Бей его!..“ И окружный начальник едва успел спастись. Зато несколько его спутников были избиты до полусмерти. Затем большинцы бросились на ближайшие усадьбы землевладельцев. Произошла свалка, во время которой несколько человек было убито. Землевладельцы с своею дворнею, забравшись в одну экономию, кое-как отстрелялись; но зато остальные экономии

были разграблены и разрушены. Грабеж продолжался двое суток, пока прибыло войско. С появлением последнего крестьяне разбежались и позасели по заросшим мелким лесом балкам и оврагам. Многие из них имели ружья, а потому, когда на них двинулось войско, произошло правильное сражение, с массою убитых и раненых. В конце концов крестьяне оказались, конечно, усмиренными... Мы не будем приводить фактов, имевших место в других местностях: это было бы перепевом той же самой, однообразной песни.

Повторяем: мы не думаем видеть в этих фактах смутного брожения народных сил залога скорого и успешного всенародного взрыва; но слеп будет тот, кто откажется усмотреть в них явное знамение крайней шаткости нынешнего порядка вещей и не менее явное указание на тот *путь,* по которому пойдет народное движение, когда наступит наконец его момент.

Г Лопатин.

VII.

К истории осуждения доктора О. Э. Веймара [1]).

В статье Иванчина-Писарева („Былое“, январь, 1907, стр. 42) я читаю: „Револьвер был приобретен Веймаром для своего друга Г. А. Лопатина, жившего в его квартире под именем Севастьянова“. Дружен с Веймаром я был, но никогда не проживал у него ни под именем Севастьянова, ни под каким-либо иным; также и пресловутый револьвер был приобретен им вовсе не для меня. Делаю эту поправку не потому, чтобы считал это сообщение неудобным для себя в данную минуту, а просто потому, что это фактическая не-

---

[1]) Напечатано в журнале „Былое“, 1907, № 3, с. 122, за подписью автора. В воспоминаниях А. И. Иванчина-Писарева об этом рассказывается так: „револьвер (за нахождение которого у А. К. Соловьева, покушавшегося на Александра II у Летнего сада в 1879 году, обвинили доктора О. Э. Веймара) был, действительно, приобретен Веймаром, но покупал он его не для Соловьева, а для своего друга, Г. А. Лопатина, жившего в его квартире под именем Севастьянова. Впоследствии этот револьвер стал „общественной собственностью“, и как он, переходя из рук в руки, попал, наконец, к Соловьеву, — Веймару не было известно, как не было известно и Лопатину, исполнявшему чью-нибудь просьбу“. *С. Ш-х.*

правда. А что Веймар был осужден в каторгу совершенно *невинно*, — это истинная правда. В свое время я настойчиво заявлял об этом тогдашнему начальнику III отделения (Шмидту). В подтверждение моих слов я открыл ему факт, неизвестный полиции и обнаружение которого было очень невыгодно тогда для меня (я сидел в Петропавловке и привлекался по Соловьевскому и другим „виселичным" делам), а именно, что в день убийства Мезенцева я был не в Париже, а в Петербурге, и провел все это утро в компании Веймара. Говорил и много другое. Как мне показалось тогда, Шмидт был внутренно *убежден* моими доводами. Однако это *личное* впечатление не передалось тем людям, в руки которых попала потом судьба Веймара. Я даже не был выставлен свидетелем по этому делу (по моим позднейшим соображениям — *умышленно*), но был отправлен незадолго до суда в Туркестан, в административную ссылку, и Веймар был осужден в каторгу за дело, в котором он не только не принимал никакого участия, но о котором *он ничего не знал* до самого его совершения.

Вильно, 24 февраля 1907 г.

VIII.

По поводу „Воспоминаний Народовольца" А. Н. Баха[1]).

В январьской книжке „Былого" (стр. 119) Бах говорит: „Росси был взят на похоронах Судейкина и, кажется, погиб в Петропавловской крепости". Последнее неверно. „Симпатичный" Росси, так „нравившийся" автору, вскоре после своего ареста, „вывернул кафтан" и дал обстоятельнейшие, предательские показания относительно всех лиц, прикосновенных к убийству Судейкина (в том числе и обо мне). Эти показания были *единственною* уликою против Стародворского и Конашевича до собственного сознания Стародворского, которое повлекло за собою и сознание Конашевича. Росси выговорил себе одно: чтобы его не ставили публично на суде лицом к лицу с преданными им людьми. Это условие было исполнено и он, по сведениям, сообщенным суду департаментом полиции, был выслан административным поряд-

---

[1]) Напечатана в журнале „Былое", 1907, № 4, стр. 298—299, за подписью автора.

ком в Западную Сибирь, где он и находился во все время нашего процесса [1]). Где он теперь, — я не знаю.

Многочисленные „субъективности“ автора „Воспоминаний Народовольца“ я оставляю без оговорок, так как исправление их потребовало бы обстоятельного, связного рассказа о делах того времени, на что у меня пока нет охоты. Но я позволю себе исправить мимоходом маленькую „аберрацию памяти“ почтенного автора только по одному пункту (февраль 1907, стр. 210).

Не знаю, — насколько энергично противился Бах помещению в № 10 „Н. В.“ некролога Бердичевского *до* моего приезда в Ростов; но помню твердо, что, когда я приехал туда и, узнав от него о помещении этого некролога, сказал, что я не могу допустить этого, он всеми силами восстал против меня, говоря между прочим:

— Это потребует переверстки всего первого листа. Типографщики ни за что не согласятся на это. Вы только взбунтуете типографию.

— Не беспокойтесь. Я сумею найти слова, которые заставят их повиноваться мне.

— Вы не знаете этих людей; это безумие; я вам не дам ни сигнала, ни пароля“.

— Раз что я знаю адрес типографии, я обойдусь и без пароля.

— Вас застрелят. Они твердо решились не даваться живыми; а к ним никто не ходит; значит всякий неожиданный посетитель есть враг, повторяю, — вас застрелят.

— Авось нет. Для пули места много, как говаривал на такие угрозы один знакомый мне сибирский разбойник. В меня уже не раз стреляли, а я все еще жив, — закончил я, смеясь.

С дачи в Ростов я явился уже в сумерки. Пройдя двором, я беззвучно вошел в квартиру, через незапертую по оплошности дверь. Меня услышали только, когда я кашлянул, стоя посреди гостиной, где было уже совсем темно, а огонь не был еще совсем зажжен.

---

[1]) По всем имеющимся у нас данным, Росси в Западную Сибирь выслан не был. Как итальянский подданный, он, вероятно, воспользовался своим правом быть высланным вместо Сибири за границу.

Прим. редакции „Былого“. — „Былое“ редактировалось в 1906—07 г. г., в числе других лиц, и В. Я. Богучарским, а в 1912 г., в отдельном издании своих очерков, „из истории политической борьбы в 70-х, 80-х г.г. XIX в.“, стр. 104, В. Я. Богучарский писал: „нам достоверно известно, что Росси был сослан административно в Туркестан, где и умер“).—*С. Ш-х.*

— Кто вы? Что вам нужно? — сурово воскликнул выросший передо мною хозяин. В то же время за перегородкой послышался подозрительный шорох: выдвигали ящик комода.

— Господа, — громко сказал я, не трогаясь с места, — не спешите хвататься за револьверы. Я один — значит с этим делом всегда поспеется. Я пришел без пароля: но хозяйка знает меня в лицо, — позовите ее.

Хозяин на секунду исчез, и я услышал шопот: „он один и говорит, что ты его знаешь; выходи, — хуже не будет". Еще через секунду предо мною стояла маленькая женщина и тщетно старалась распознать меня в темноте и в смущении. Я положил ей руки на плечи и, наклоняясь к ее уху, сказал тихонько: „Руня, не узнаешь? Я Садовая?.." Она взвизгнула и бросилась мне на шею. Затем все шло „по хорошему". Я послал за Антоновым и разъяснил всем — почему распорядительная комиссия, вполне понимая и разделяя их товарищеские чувства к Бердичевскому, не может допустить помещения такого некролога, так сказать, в „Правительственном Вестнике" партии. Никто не выказал ни малейшего сопротивления и все принялись поспешно переверстывать первый лист [1]).

---

[1]) В воспоминаниях А. Н. Баха („Былое", 1907, февраль, 210—211) эпизод с некрологом Бердичевского изложен так: „На первой странице нумера („Народной Воли"), по обыкновению, печатался некролог погибших товарищей, и между мною и Ивановым возник спор на счет того, поместить ли в некрологе имя Бердичевского, убитого в декабре 1883 г. под Харьковом во время попытки ограбить почту. Я был против напечатания имени Бердичевского, так как был против ограбления почт, которое и вообще не следовало практиковать, а еще меньше можно было признать партийным делом... Иванов на это возражал, что ограбление почт раньше практиковалось партией, что если тактика партии на будущее время будет иная, то все-таки будет несправедливо по отношению к памяти Бердичевского, погибшего за партийное дело, исключать его имя из некролога... Столкновение... обострилось... налагало на меня обязанность уступить им, что я и сделал... я тем более склонен признать это за ошибку, что впоследствии Лопатину удалось в отсутствие Иванова уговорить типографщиков выбросить из номера некролог Бердичевского и поставить таким образом Иванова перед совершившимся фактом".

С. Ш-х.

В. А. Караулов [1]).

Право я затрудняюсь, — что и как ответить на ваш вопрос [1]) о В. А. Караулове. Мне не легко даже сказать — знал ли я его сколько-нибудь хорошо. Судите сами. Одно время мы были с ним очень близки: наши койки были привинчены к двум сторонам одной и той же стены, и мы то и дело предавались „сугубой литографии", т.-е. излагали наши мысли и чувства маленьким камешком на большой каменной странице разделявшей нас стены. Но с другой стороны, это было как раз первое время наибольших строгостей „беспощадного и неумытного Ирода" [2]): за стук тогда вязали, одевали в смирительную рубашку, сажали в карцер... Приходилось перестукиваться тайком, воровски, с неожиданными и длинными перерывами. Много ли наговоришься при таких обстоятельствах и очень ли глубоко заглянешь в душу друг друга? К тому же Караулов был осужден всего на 4 года, перед ним мерцала впереди надежда выйти на волю, и он не хотел подрывать эту надежду неосторожным поведением и столкновениями с начальством. При своем тонком слухе, он уже издали замечал кошачьи шаги подкрадывающегося сторожа и мгновенно прекращал стук, точно сквозь землю проваливался. Не умею вам выразить, какое дикое впечатление производит такое внезапное исчезновение собеседника и перерыв разговора „на самом интересном месте"... Мне, как бессрочному и безнадежному, недовольство начальства было сравнительно безразлично, а потому я часто сердился на соседа за такие „чересполосные" беседы и, при новом появлении его на поверхность земли, свирепо бранил его. „Полосатый Тапир" — было самое легкое из моих ругательств в этих случаях. Но он сразу обезоруживал мою раздражительность своим философским спокойствием и сердечной незлобивостью.

---

[1]) Напечатано в виде „письма в редакцию" в журнале „Современник", Спб., 1911 № 1 Вас. Андр. Караулов — родился в 1854 г., умер в 1910 г. — народоволец; в 1884 г. был приговорен к 4 летней каторге, которую отбыл в Шлиссельбургской крепости; затем был сослан в Сибирь. В качестве члена конст.-дем партии был избран в 3-ью Государственную Думу, где много работал по вероисповедным вопросам, горячо отстаивая свободу совести, в особенности защищая интересы старообрядцев и сектантов.

[2]) Прозвище смотрителя Шлиссельбургской тюрьмы, ротмистра Соколова.

Вообще, ни раньше, ни позже, я не встречал такого уживчивого, доброго, ласкового товарища, как Караулов. За многие месяцы нашей жизни рядом у нас не было буквально ни одной размолвки; а всякий знающий по опыту болезненную издерганность тюремных нервов, понимает, что это значит... И все же при таких условиях много не наговоришься.

„Но ведь вы знали его на воле", — спросят меня. Знал, но очень недолго, виделся с ним очень редко и говорил только о делах, а не предавался тем длинным и приятным беседам, в которых только люди и узнают хорошенько друг друга и срастаются понемногу душой и сердцем.

Впервые услышал я имя Караулова от Дегаева в тот памятный вечер, когда, сидя за чаем в трактире Палкина, он внезапно развернул предо мною картину своего предательства, своего покаяния, взятого на себя кровавого поручения, своей новой деятельности, планов приготовлений и пр. Это был жуткий и страшный момент... Но рассказ о нем не относится сейчас к делу. В этот вечер я узнал от Дегаева, что существующий в данную минуту Исполнительный Комитет „Н. В." — состоящий из него, Дегаева, двух братьев Карауловых, Якубовича и Усовой — весь известен Судейкину и действует под его эгидою и с его милостивого соизволения, что, впрочем, неизвестно никому из членов этого комитета (прозванного мною после „Соломенным"), кроме одного Дегаева. Он прибавил, что, в виду предстоящей „казни" Судейкина и имеющих последовать затем строгостей, он, по поручению парижан, выслал одного Караулова в деревню, а другого (Василия Андреевича) в Париж. И действительно, приехав в Париж вскоре после смерти Судейкина [1]), я застал там Караулова и впервые познако-

[1]) Жандармский подполковник Г. П. Судейкин, обладавший огромной энергией и еще большим честолюбием, задумал путем ряда провокационных убийств своих высших начальников, вплоть до министра внутр. дел графа Д. А. Толстого и некоторых великих князей, — запугать царя и сделаться единовластным правителем государства. В своих провокационных замыслах он хотел пользоваться содействием предателя-народовольца С. П. Дегаева, которого пытался прельстить участием в будущих благах по управлению Россией. Дегаев своим предательством причинил партии „Народной Воли" огромное, гибельное для ее существования зло, но, в конце концов, уличенный своими бывшими товарищами и под влиянием их приказа, устроил в своей квартире засаду и содействовал убийству Судейкина (в декабре 1883 г.). Г. А. Лопатину было поручено комитетом партии проследить, чтобы Дегаев не учинил по отношению к „Народной Воле" нового предательства и снова не переметнулся к Судейкину. Подробности и ссылки на литературу у И. Я. Богучарского — „Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX в.". М. 1912. *С. Ш-х.*

мился с ним. Это был тогда высокий, широкоплечий, несколько грузный блондин с прекрасным, высоким лбом и с чрезвычайно благородным и приятным выражением лица, говоривший необыкновенно симпатичным баритоном и отличавшийся какой-то спокойно-самоуверенной, добродушной манерой в обращении. Вся его внешность и манеры мне очень полюбились, или, вернее сказать, мы оба очень понравились друг другу, и, благодаря принадлежности к одному кругу по взглядам и профессии, между нами быстро установились товарищеская короткость и взаимное доверие, несмотря на отсутствие сколько-нибудь частого и разностороннего обмена мнений. До того ли тогда было?

Парижская делегация из уцелевших обломков старого Исполнительного Комитета „первого призыва“ только о том и думала, чтобы поскорее утилизировать избавление от центрального предательства, подрывавшего в последние годы деятельность партии. Ей не терпелось отправить поскорее в Россию своих уполномоченных, „собрать рассыпавшуюся храмину“, поднять снова упавшее знамя, организовать и повести снова в бой уцелевшие, но рассеянные силы. И вот, все время уходило на снаряжение этих уполномоченных, — к числу которых принадлежал и Караулов, — на снабжение их наскоро-выработанными инструкциями и т. д. На всех этих заседаниях непременными членами были Караулов и я, но это ведь были деловые, по большей части чисто технические разговоры, — а не задушевные беседы...

Помню еще, что мы были с ним членами партийного суда по поводу неосторожного поведения на следствии одного одессита (кажется, Петрова), причем я имел случай наглядно убедиться в спокойном беспристрастии, деловитой внимательности и, вообще, в чисто „судейской“ складке ума Караулова, что очень мне нравилось и послужило мне большой помощью. Но вот и все, что я вспоминаю из этого периода.

Караулов уехал из Парижа раньше меня и направился в Киев, где в это время Шебалины ставили свою типографию. Все предприятие быстро рухнуло, и все его участники попали в тюрьму, а затем под суд. Как известно, суд обошелся с ним сравнительно милостиво, за что и получил потом хорошую нахлобучку. Все обвиняемые были осуждены на *срочную* каторгу и предназначались к отсылке на Кару. Но при отправке, все они — Караулов, Шебалин, Панкратов и Мартынов (Борисевич) — не позволили обрить себе пол-головы и заковать себя в кандалы до прибытия

на место наказания. За этот „бунт“ их повернули в Шлюшин [1]), где они очутились ранее меня и пережили все его первые, самые тяжкие времена.

Караулов плохо верил в выход из этой могилы и очень нервничал по этому поводу: „А что как, по окончанию срока, меня все же оставят здесь, уже не как каторжника, а как поселенца, которому указано для поселения именно это место. Ведь держат же здесь административно-ссыльного Лаговского, никогда не бывшего под судом и не лишенного официально никаких прав, под тем лицемерным предлогом, что для него это не тюрьма, не наказание, а просто место отбывания административной ссылки“. Ко всем моим доводам по этому поводу относился он с великим скептицизмом и сдержанностью и поверил своему освобождению лишь тогда, когда пред ним раскрылись двери тюрьмы.

С тех пор он для нас „точно в воду канул“ вплоть до нашего собственного „воскресения“. Как он жил в Сибири,— мне неизвестно. О деятельности его в Г. Думе свидетельствуют ее протоколы, газеты и т. п. источники. Мне не довелось встретиться с ним ни разу; сначала я был „привинчен“ в Вильне, потом „терпим“ в Петербурге при условиях, не располагающих к расширению и возобновлению знакомств, а затем выехал за границу, где усердно сторожу бывшее Тирренское море. Здесь я и получил известие об его смерти, которому и до сих пор как-то не в силах поверить: до такой степени мне трудно представить себе эту высокую, могучую фигуру бездушным трупом...

И когда вот сейчас, поздним вечером, я перебираю в мысли наше совместное, беспросветное прозябание в Шлюшине, в тесном соседстве друг с другом, то мне почему-то приходят все в голову не какие-нибудь серьезные, важные факты, а разные трогательные мелочи, смягчавшие по временам это безотрадное существование. В наших разговорах я имел привычку уснащать речь цитатами из священного писания, из любимых поэтов и народных песен.

И вот вспоминается мне сейчас зимняя, ранняя ночь: я лежу и оживленно выстукиваю что-то с обычными украшениями, как вдруг Караулов перебивает меня и выстукивает тихо, но выразительно: — „Да заснешь ли ты когда-нибудь, Полный Русский Песенник?“ И мне снова становится смешно, как тогда; и в груди, где-то около сердца, снова шевелится тонкая, теплая струйка сознания, что тут совсем близко,

---

[1]) Шлиссельбургская крепость.

лежит добрый, ласковый товарищ и тихонько улыбается мне из-под усов с добродушной усмешкой и лаской.

Простите, если я обманул ваши ожидания и не сообщил вам ничего интересного.

Я сказал попросту—что и как мне припомнилось — и не моя вина, что я так мало знал Караулова, что не могу служить ценным источником для его биографии.

Рискуя навлечь на себя упрек за злоупотребление французскими поговорками, говорю еще раз: не взыщите за малосодержательность моего сообщения, памятуя.

Из рассказов о Л. Лаврове.

II [1]).

В начале 1870 т. мне пришлось приехать в Петербург с Кавказа, откуда я бежал. Здесь я встретился, с дочерью П. Л. Лаврова—М. П. Негрескул, муж которой в это время сидел в крепости по Нечаевскому делу. От М. П. Негрескул, а также от Автонома Негрескула (брат мужа дочери Лаврова) я узнал, что Петр Лаврович страшно рвется из ссылки за границу. Оказалось, что уже целый год, как он собирается бежать, но не может осуществить своего намерения. Все это заставляло Лаврова страшно тяготиться своей ссылкой и нервничать. Его родственники и друзья в Петербурге как-то тянули это дело. Затевали какие-то сложные планы, неосуществимые практически. В довершение всего в нужную минуту не оказывалось ни денег, ни заграничного паспорта. Последнее обстоятельство особенно усложняло побег Лаврова.

Узнав о желании Петра Лавровича бежать из ссылки, я немедленно предложил его родственникам свои услуги по организации побега и вызвался тотчас съездить к Лаврову в г. Кадников, где он тогда жил, чтобы „успокоить его и обнадежить скорым отъездом". На деле же я решил вместо „обнадеживания и успокоения" сразу увести Петра Лавровича. Должен здесь заметить, что никакие организации или революционные кружки не имели решительно никакого отношения к побегу Лаврова.

---

[1]) Напечатано в записи П. Витязева в журнале „Голос Минувшего" 1915 г., № 9. Г. А. Лопатин говорил не раз, что редакция П. Витязева буквально точно передает подлинный рассказ Лопатина.

Через несколько дней я уже был в Вологде, где, за неимением знакомых, остановился на каком-то постоялом дворе. На следующий день к вечеру я нанял лошадей и поехал к Лаврову в Кадников. Ехал я в форме отставного военного. На мне была черкеска и дворянская фуражка. По паспорту в то время я числился отставным штабс-капитаном Скирмунтом.

Приехав в Кадников на постоялый двор и оставив там лошадей, я отправился на квартиру Лаврова. Едва я вошел в переднюю, как Лавров, увидев перед собою военного, тотчас загородил мне дорогу в квартиру и довольно холодно осведомился о цели моего приезда. Я сказал, что приехал проведать его по поручению дочери. Лавров моментально изменился в обращении и любезно пригласил меня к себе. Не успели мы еще обменяться первыми фразами, и едва я только начал открывать цель своего приезда, как к Лаврову пришли гости из местных жителей, и наш разговор был прерван на самом интересном месте.

Пришлось занимать гостей разговорами о загранице, Петербурге и т. п. В довершение всего гости довольно настойчиво стали приглашать меня зайти к ним. Чтобы как-нибудь выйти из неловкого положения, пришлось дать обещание заехать на обратном пути. За все время пребывания гостей Петр Лаврович несколько нервничал, проявлял признаки нетерпения, но все-таки до самого конца продолжал быть любезным хозяином.

Как только гости удалились, я объяснил Лаврову, что приехал с целью увезти его из ссылки. „Согласен ехать хоть сию минуту“, заявил мне в ответ Лавров. После небольших переговоров было решено, что я приеду за ним через день вечером. За это время Лавров должен был приготовиться к побегу. Мать его, Елизавета Карловна, которая жила с ним в Кадникове, должна была к часу моего приезда куда-нибудь отослать прислугу, а затем скрывать от нее исчезновение сына. Сделать это было очень легко.

Дело в том, что Петр Лаврович иногда страдал мигренью. В это время он становился крайне раздражительным. В эти дни, чтобы не вызывать излишнего раздражения у сына, Елизавета Карловна не впускала к нему прислугу и сама ухаживала за ним, подавая ему все необходимое. Решено было воспользоваться этим обстоятельством и после нашего отъезда объявить Петра Лавровича заболевшим мигренью. Кроме того, на старушку еще возлагалась обязанность после побега в течение нескольких дней зажигать ве-

черами огонь в комнате Петра Лавровича, чтобы не вызвать подозрения у жандармов, которые вечерами иногда прогуливались около квартиры Лаврова. Помимо этого, старушку научили через несколько дней после побега заявить о пропаже сына. Вообще, надо заметить, что мать Лаврова, несмотря на свой преклонный возраст, была женщина с большим характером и самообладанием, и вологодская администрация и не думала ее подозревать в участии в побеге. Она решительно ничем не выдавала себя после того, как было обнаружено исчезновение ее сына.

Одно только обстоятельство несколько озабочивало Лаврова. Дело в том, что в это время Лавров начал издавать отдельной книжкой свои „Исторические письма", и рукописи его в целях конспирации переписывались в Вологде местными семинаристами. Петр Лаврович дал мне адрес этих семинаристов и усиленно просил забрать все рукописи. Вернувшись в Вологду, я отправился немедленно к семинаристам и, не предупредив их в чем дело, сразу заявил, что мне необходимы рукописи Лаврова. Надо было видеть испуг бедных юношей! Увидав пред собой военного, они вообразили Бог знает что и в ответ на мое заявление лепетали дрожащим голосом что-то непонятное. Только тогда я сообразил свою оплошность и, расхохотавшись, постарался успокоить перепуганных семинаристов.

В назначенный день я опять приехал из Вологды в Кадников и остановился попрежнему на постоялом дворе. До самого вечера я провалялся в качестве больного в постели и никуда не выходил. Как только стемнело, я прошел к Лаврову и вывел его из квартиры. Затем вернулся на постоялый двор и, выехав на своих лошадях, дорогой посадил Лаврова в свои сани, и мы покинули Кадников. Едва мы выехали за город, как я вспомнил, что мы забыли захватить с собою провизию и пирожки, приготовленные специально для нашего отъезда заботливыми и любящими руками Елизаветы Карловны. Я заявил об этом Петру Лавровичу и выразил желание сбегать в город и принести позабытый сверток. „Что вы, Герман Александрович! Стоит из-за таких пустяков останавливаться. Бог с ними, с этими пирожками!" — протестовал Лавров. Но я по молодости не согласился с протестами Лаврова и, остановив сани, побежал обратно в Кадников за пирожками... Здесь я всполошил перепуганную старушку, которая первое время никак не могла понять, в чем дело и что с нами случилось. В конце концов, злосчастные пирожки все-таки были нами захвачены.

Из Кадникова до Ярославля мы проехали на лошадях, а за Ярославлем, не помню с какого города, мы уже по железной дороге добрались до Москвы, откуда и направились в Петербург. Весь побег произошел без каких-либо осложнений и инцидентов. Только за Вологдой, кажется, в г. Грязовце на постоялом дворе, где мы перепрягали лошадей, нам пришлось встретиться с вологодским жандармским полковником г. Мерклиным. К счастью, встреча эта окончилась для нас благополучно. Надо сказать, что я подвязал щеки Лаврова платком и обложил их ватой, якобы у него болят зубы. Благодаря этому, исчезала борода Лаврова, что сильно изменяло его наружность. Лавров должен был только мычать на случайные вопросы встречных, в критическую же минуту отнюдь не вступать с кем-либо в разговоры или объяснения. Все, что касалось переговоров или расчетов, лежало исключительно на мне. Петр Лаврович в это не вмешивался. Моей обязанностью было увезти Лаврова из ссылки и доставить его в Петербург. Дальнейшее же путешествие Петра Лавровича за границу уже протекало без моего участия исключительно при содействии его родственников.

II.

К рассказам о П. Л. Лаврове.

I [1]).

Все воспоминания о собственном прошлом, о приходивших в столкновение с нами людях и т. п.—неизбежно субъективны. Вот ведь, кажется, и состарится человек, и посмотрит иным, более спокойным и бесстрастным взглядом на минувшие события; и переменит многое в своих оценках бывших врагов и друзей и их деятельности; а как начнет рассказывать о пережитом, так снова впадает в настроения прежнего времени, снова враждует и любит, снова не в силах быть объективно-справедливым и отдавать должное даже врагам и соперникам, снова слышатся во всем тоне его рассказов о них враждебно-пренебрежительные или

---

[1]) Напечатано в журнале „Голос Минувшего“ 1916 г. № 4 за подписью автора.

насмешливо-иронические нотки... Вот—мысли, то и дело приходившие мне в голову при чтении рассказов Сажина о Лаврове в передаче их Витязевым [1]). Говорю это только мимоходом, к слову, так как для того, чтобы парализовать впечатление, производимое *тоном* рассказов Сажина, его *оценкою* Лаврова, как человека, и его *освещением* рассказываемых событий, нужно было бы противопоставить им *собственную* оценку личности Лаврова, *собственное* освещение этих событий, *собственный* рассказ о том же, но в ином, собственном *тоне*,—на что я не имею ни досуга, ни нужных материалов, а потому ограничусь лишь кратким исправлением только некоторых, чисто *фактических*, неточностей в том порядке, в каком они читаются в статье Витязева.

1. Не знаю: писал ли что-нибудь Лавров в ссылке, кроме „Исторических Писем", которые он подписывал псевдонимом (Миртов) и отсылал в Петербург переписанные чужим почерком (я сам выручал последнее из них у одного вологодского семинариста-переписчика), и притом отсылал всегда со знакомыми людьми, а не по почте. Но если и писал, то, наверное, поступал и с этими рукописями таким же манером, а потому губернатор Хоминский не мог самолично просматривать его статей, как значится у Сажина (стр. 114).

2. Рассказав о тайных поездках Лаврова из Кадникова в Вологду с местным ямщиком Кузьмою, Сажин говорит, что на его вопрос, „а как же удалось Лаврову вырваться окончательно из Кадникова?", тот отвечал: „да тот же Кузьма и вывез". Я ничуть не сомневаюсь, что Сажин верно передает ответ Лаврова, но только утверждаю, что этот ответ нисколько не соответствовал действительности. Лавров был джентльмен, не допускавший возможности располагать чужими тайнами, да еще опасными. А не нужно забывать, что я был в то время просто скрывшимся из-под ареста молодым человеком, за которым не числилось никакого определенного преступления, а потому рассказывать о моей роли в исчезновении Лаврова из Кадникова значило давать в руки правительству данные для обвинения меня в очень определенном преступлении и притом как раз в тот момент, когда я сидел в Иркутском остроге по *подозрению* в наме-

[1]) Рассказы М. П. Сажина о Лаврове, в записи П. Витязева, напечатаны в „Голосе Минувшего", за 1915 г.; № 10. Характеристика политических взглядов самого М. П. Сажина—в дальнейшем рассказе Г. А. Лопатина.

рении похитить Чернышевского. Вот почему Лавров, отвечая на нескромный вопрос, дал такое показание, которое послало вопрошателя по ложному следу; и вот почему моя роль в побеге Лаврова долгие годы оставалась неизвестною никому решительно, кроме немногих непосредственных участников в этом деле. Кстати: Лобов (стр. 123) не имел никакого касательства к моей поездке за Лавровым; но когда я привез Лаврова в Петербург, то Лобов предоставил свою квартиру для свиданий Лаврова с его друзьями [1]).

3. Перескакивая через несколько страниц, скажу, что тою же скрытностью Лаврова и щепетильным отношением его к своим и чужим тайнам — личным и общественным — объясняется еще одно ошибочное показание Сажина. Сообщая ему о своем намерении уехать из Парижа, Лавров, по словам Сажина, объяснил его так: „Мы с Анной Павловной достаточно натерпелись всяких лишений во время осады Парижа и последующих событий, и больше оставаться здесь не желаем“ (125). Я опять-таки не сомневаюсь, что Сажин верно передал слова Лаврова, но опять-таки убежден, что Лавров просто не нашел нужным открыть Сажину истинную причину своего отъезда. Мне опять говорил позже в самых определенных выражениях, что Коммуна поручила ему отправиться в Лондон, чтобы всячески уговаривать там Генеральный Совет Интернационала поднять серьезную агитацию среди английского рабочего сословия и радикалов в пользу Коммуны. Не следует забывать, что Интернационал в то время еще не распался и даже не колебался, продолжая вызывать надежды одних и опасения других.

Помню, как несколько ранее, при самом начале осады Парижа, я сам был избран одним из депутатов Генерального Совета к Гладстону, с целью побудить его министерство к вмешательству в пользу скорейшего заключения мира, в виду того, что виновница войны—Бонапартовская Империя—уже пала, а новорожденная республика охотно шла на все разумные уступки. Правда, Гладстон вежливо отклонил домогательства Совета, но все же с Интернационалом тогда еще разговаривали...

В связи с этой командировкой Лаврова я прекрасно помню его рассказы о разных курьезных обстоятельствах этой поездки. Выехал он с паспортом от Коммуны, который произвел великий соблазн на передовой линии версальцев

[1]) Подробности увоза П. Л. Лаврова из Кадникова, в рассказе Г. А. Лопатина—см. ниже.

между полицейскими и таможенными досмотрщиками. „Это что за паспорт? К кому обращаются выдавшие его люди? Как смеют они рассчитывать на принятие их бумажонки всерьез и на признание их как бы за какое-то правительство?"—спрашивали Лаврова.—„Чего вы хотите от меня?—отвечал он. Я — иностранец, эмигрант без национальных бумаг. Я жил в Париже. Мне понадобилось отправиться в Лондон. Для этого требуется нынче паспорт. Понятно, что я обратился за ним к правительству de facto, не интересуясь тем, чего оно стоит de jure в глазах остальной, внепарижской Франции и иностранных держав. Не нравится вам мой паспорт, так дайте мне другой, настоящий". Так и сделали. Кстати: в этот именно раз Лавров познакомился впервые с Марксом, к которому он обратился прежде всех с своим поручением, прося представить его Генеральному Совету.

4. К числу *фактических* ошибок Сажина я позволяю себе отнести и его рассказ о какой-то „Инструкции революционерам", составленной Лавровым и ходившей в рукописи за-границей в 1875 году, возбуждая общий смех своей наивной непрактичностью, доходившей поистине „до комизма". Скажу прежде всего, что Лавров, признавая свою некомпетентность в житейской практике, всегда самым решительным образом уклонялся даже от словесного обсуждения практических вопросов, вроде транспортировки изданий через границу, их распространения в России, организации на родине своих сторонников и т. п., а тем более от публичных выступлений по таким вопросам. Представляется далее непонятным, почему Лавров, располагая бесконтрольно типографией „Вперед", распространял эту „Инструкцию" в *рукописи*, а не в печатных экземплярах, хотя бы и предназначенных только для близких единомышленников. Но всего непонятнее для меня то, что я слышу теперь только впервые об этой „Инструкции" Ведь как раз в это время я проживал за-границей, будучи связан с Лавровым узами самой тесной дружбы.

Когда мы жили в одном городе, то виделись каждый день, а когда—в разных: я—в Париже, а он—в Лондоне, то переписывались буквально ежедневно. Лавров не выпускал в печать ни одной вещи, не отсылал ни одного важного письма по общественно-политическому делу, не ознакомив сначала с ним меня, в видах совместного обсуждения. И вот, в Швейцарии, где проживал Сажин, это „смехотворное" произведение Лаврова ходило по рукам, а я, его задушевный друг, никогда не видал его в глаза! Ничего не

знали о нем и другие, проживавшие в Париже и ежедневно общавшиеся со мною друзья Лаврова. Не ведали о нем и сотрудники Лаврова в Лондоне. Ничего не слыхал впоследствии о нем от Лаврова и тесно друживший с ним Русанов, равно как и проживавшая последние годы с Лавровым,—так высоко чтившая и так горячо любившая своего отца,—его дочь, М. П. Негрескул, остававшаяся при нем, в ежедневном тесном общении с ним, до самой его смерти. Я знаю, конечно, что и в юриспруденции, и в общей логике, при одинаковой добросовестности и компетентности свидетелей, даже одно *положительное* показание перевешивает любое число отрицательных. Но признаюсь откровенно, что, в виду всего вышесказанного, мне требуется нечто большее, чем простое показание Сажина, на основании слухов того времени, чтобы поверить авторству Лаврова относительно такого произведения, про которое сам Сажин говорит, что „более комичной вещи трудно было себе представить".

5. Рассказывая о своих встречах и столкновениях с Лавровым в Вологде, Париже и Цюрихе, Сажин многократно упоминает о „неустойчивости и несамостоятельности политических взглядов" Лаврова, об отсутствии „революционности" в его темпераменте, о большой „эластичности его мысли", об „изменчивости его решений по общественно-политическим делам под влиянием окружающих", о „разнообразии его программ" и его многочисленных „эволюциях". Что сказать на это? Конечно, Лавров, как и всякий другой — великий или ординарный—человек, эволюционировал в своем духовном росте. Поначалу, он был просто либерал-конституционалист и великий почитатель Герцена, у которого он поместил (в „Полярной Звезде") свои стихотворения, сыгравшие такую роковую роль в его судьбе. По своей профессии—ученого, философа и историка—он не мог питать слишком крайних мнений и верить в близость стремительных переворотов de fond en comble.

Но, на-ряду с передовыми людьми своего времени, он уверенно ожидал вскоре крупных прогрессивных реформ во всем строе русской жизни, как естественных последствий освобождения крестьян и пр. Поэтому он не без основания смотрел на свою ссылку, как на чересчур строгую кару за свои стихотворения, как на временное ожесточение правительства против всякого либерализма, вызванное выстрелом Каракозова. Вот почему он надеялся на скорое возвращение в Петербург и не хотел затруднять его какими-либо „неосторожностями". Но вместе с тем, и в своем времен-

ном опальном положении, он желал приносить посильную общественную пользу в свойственной ему сфере, т.-е. в форме литературных чтений, живых бесед с публикою и т. п. Отсюда его желание сблизиться с местным обществом и, конечно, с теми его кругами, к которым он принадлежал по своему рождению, воспитанию, прежнему общественному положению и привычкам.

Не забудем, что Лавров не был лишен прав или опорочен по суду и что ссылка его была вызвана лишь подозрительным отношением правительства к его политическим взглядам, а не какими-либо постыдными для него мотивами, вследствие чего в намерении его сблизиться с обществом, сделав нужные визиты, не было ровно ничего претенциозного или исключительного, так что ирония Сажина по этому поводу удивляет читателя и объясняется просто тем, что Сажин снова перенесся в свое тогдашнее настроение „нигилиста" 60-х г. Сажин немножко злорадно замечает, что Лавров потерпел при этом афронт, так как никто не отдал ему визита. Но ведь это свидетельствует лишь о трусости провинциального общества и ничуть не роняет Лаврова в его благородном стремлении делать посильное благое дело. Да и так ли это было? Т.-е. в такой ли полной мере? По крайней мере, я, в первый же проведенный у Лаврова вечер, встретился там с двумя земцами из наиболее уважаемых в своем уезде, а после слыхал, что некоторые из видных вологжан, наподобие Иосифа Аримафейского, поддерживали сношение с ним, но по „тайности", в чужих домах, „страха ради иудейского".

Что Лавров не был тогда социалистом,—а тем паче социалистом-революционером, это—верно. Конечно, как историк, он был знаком с социалистическими учениями, но знал также всю ничтожность их роли в прагматической истории; а как теории, они представлялись ему скорее как этические системы, как нечто вроде религий, чуждых *научной* подкладки, чем они и были до Маркса. Экономическая подкладка истории не выступала тогда еще на передний план, вследствие чего Лавров мало интересовался и занимался политической экономией. Сдается мне даже, что этот редактор „Логики" Милля не читал „Политической Экономии" того же автора. Заключаю это из отсутствия у нас с ним в то время всяких разговоров на экономические и социалистические темы.

И только очутившись за-границей, он увидел, до какой степени экономика и социализм вторгаются понемногу в прагматическую историю, начинают „делать историю", становятся ее заметными факторами. Только там, ознакомившись

с Марксом, он познал социализм, как *научную* систему, и стал ее приверженцем.

К слову сказать, так было и со мною: и я—натуралист по образованию и приверженец строгого научного мышления—заинтересовался впервые экономикой и социализмом только во время первой моей ссылки, прочитав там Лассаля и Маркса, почему мне так и понятна эта эволюция Лаврова.

Но она произошла не сразу, а в особенности не сразу изменился характер деятельности Лаврова. Поначалу Лавров и в Париже продолжал надеяться на скорое наступление в России лучших времен и на возможность возвращения на родину полноправным гражданином, вследствие чего избегал вдаваться в крайности. Поначалу он рассчитывал служить делу прогресса в наиболее свойственной ему сфере, путем литературной пропаганды в легальной русской прессе наиболее прогрессивных идей из области философии, религии, науки, искусства и политических учений. Практическое участие в политике он считал несвойственным себе делом и всячески отстранялся от него. И только когда жизнь выяснила всю тщетность его ожиданий, и когда внезапная смерть А. П. Чаплицкой опустощила его личную жизнь и побудила его искать забвения в какой-либо более захватывающей деятельности, чем подцензурная литература, только тогда он обратился к заграничной анти-правительственной агитации и вступил для этого в сношения с кружком молодых застрельщиков революции, наиболее приближавшихся к нему по своим взглядам. Это и есть цюрихский период его жизни, период основания „Вперед“ и резких столкновений по этому поводу с Бакуниным и Россом (Сажиным),—столкновений, составляющих главное содержание воспоминаний Сажина и главный материал его обвинений Лаврова в непостоянстве и изменчивости его взглядов, в перемене программ и т. д.

Я провел весь этот период в секретной камере Иркутского острога, а потому не могу свидетельствовать о нем, как очевидец. Замечу только мимоходом, что история пресловутых „трех программ“ кажется мне достаточно выясненной самим Лавровым в одном позднейшем заграничном издании [1]). Что же касается до его „уступчивости“ взглядам

[1]) „Материалы для истории русского социально-революционного движения“. П. Лавров: Народники 1873—1878 г.г.

Прим. Г. Л. (См. русское издание этой книги: П. Л. Лавров—„Народники—пропагандисты 1873—78 годов“, Спб. 1907).

своих сотрудников, в ущерб своим собственным, в редактировавшихся им журналах, то я припоминаю сейчас некоторые из моих бесед с ним по этому поводу.

„Я считаю своим долгом, — говорил он, — помогать той партии *действия*, которая имеется в данный момент на-лицо, хотя бы я далеко не во всем соглашался с ней. Что до того, что я не мог разделять наивной веры „впередовцев“ в возможность скорого внезапного и полного социального переворота? Что до того, что я не могу верить вместе с „народовольцами“ в осуществимость путем заговора и т. н. „террора“ тоже внезапного, коренного, политического переустройства России? Но ведь их конечные идеалы и цели тоже и мои? Ведь их средства действия не противоречат моим моральным принципам, хотя бы они и казались мне иной раз непрактичными и нецелесообразными? Ведь я знал и знаю, что, стремясь к неосуществимому в близком будущем, они все же содействуют попутному достижению хотя бы более скромных, но все-таки прогрессивных, задач более умеренных партий, по известному ироническому закону истории „sic — vos, sed — non·vobis“?. Так, что мне до их иллюзий или до наших чисто *тактических* разногласий, которые я старался и стараюсь обходить? Повторяю: я всегда был и буду с теми, которые *действуют*, борются, а не с теми, что сидят у моря и ждут погоды“.

Так он и действовал, работая совместно с крайними революционерами-утопистами, хотя по собственным взглядам и был, может быть, ближе к некоторым из нынешних левых кадетов — как я представляю их себе — т.-е. к людям, признающим в теории социалистический строй за конечный, неизбежный финал развития современных обществ, но считающим, что сейчас нужно сосредоточить все силы на борьбе за ряд более скромных, но более осуществимых, политических, экономических и социальных перемен общественного уклада. Кстати: иллюстрируя уступчивость Лаврова, Сажин говорит, что, благодаря ей, он сам же дал наиболее обстоятельное моральное оправдание террора. Где это? Не разумеет ли Сажин ту статью на эту тему в № 1 „Вестника Народной Воли“, которая, как я достоверно знаю, принадлежала перу Лесевича? Впрочем, мое знакомство с этим журналом было остановлено судьбою как раз на № 1. Во всяком случае, мне кажется, что все вышеизложенное показывает ясно, что эволюция Лаврова совершалась все время в *одном* направлении, а именно—в *левом*, а отнюдь не обнаруживала каких-то постоянных *колебаний* политической мысли.

6. Сажин говорит о „сдержанном“ отношении Лаврова к Парижской Коммуне, чуждом всякой „восторженности“, „увлечения“. Но чем же было „восторгаться“ и „увлекаться“ здравомыслящему человеку в этом *безнадежном* движении с его неслыханной анархической программой? Можно было восхищаться героизмом бойцов Коммуны и скорбеть об их *неизбежной* гибели, но „увлекаться“ их благородным безумием не всякому было под силу. Столь же „сдержанно“ относился Лавров, по словам Сажина, и к Интернационалу, а потому и уклонился от выступления в печати в защиту Бакунипа и его приверженцев.

Но именно сочувствие Интернационалу не дозволяло ни одному разумному человеку симпатизировать Бакунину, вся деятельность которого в этом случае явно грозила распадением и гибелью Интернационала. Да и каким образом моральный человек мог сочувствовать и помогать людям, которые публично гремели против централизации, деспотизма, генеральства и самовластия Генерального Совета, а негласно составляли *заговор* не против правительства, а против своих же товарищей-единомышленников, — учреждали *тайный союз* (l'Alliance), имевший целью *секретно*, неведомо для массы рядовых членов Интернационала, управлять его деятельностью? Как мог дорожащий своей моральной репутацией человек добровольно вмешаться в печальную историю шантажирования Любавина Нечаевым, ради освобождения Бакунина от обязательства выполнить взятый им на себя и отчасти уже оплаченный литературный труд? Положим, что Бакунин был повинен тут больше попустительством и недостаточно энергическим протестом, но все же никому не могло быть сладко впутаться в эту скандальную историю.

Несмотря на мою тесную дружбу с Марксом, я отказался наотрез дать ему находившиеся у меня в руках документы по этому делу [1]), сказав ему: „я не оправдываю вполне Бакунина, но никогда не соглашусь помогать позорить на всю Европу человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении“. Так же отнесся к этому делу и Лавров, знавший от меня все подробности Любавинской истории и не находивший поэтому возможным для себя ни обвинять, ни защищать Бакунина.

7. Не мало говорит Сажин о перипетиях Русской Библиотеки в Цюрихе. Повторяю: свидетелем этих перипетий я не

---

[1]) Это сделал после, перед Гаагским конгрессом, Н. Утин.

Прим. Г. Л.

был. Но из добросовестного изложения Сажиным аргументов Лаврова мне кажется, что справедливость была на стороне последнего. В самом деле, кем бы ни была основана Библиотека, но поддерживалась она на средства *всех* русских студентов. На каком же основании небольшая группа инициаторов утверждала за собою исключительное право распоряжаться выбором вновь приобретаемых книг, суживая широту этого выбора и ограничивая его лишь книгами сочувственного ей направления?

Обычное русское самоуправство и деспотизм если не правительства, то самозванной, тесно сплоченной, активной группы!.. Конечно, нельзя сочувствовать борьбе с этим самоуправством путем тайного расхищения книг. Но мы знаем из исторического опыта и собственного, что в людских группах, ставших на путь борьбы с законом в какой-либо области, скоро развивается наклонность к отступлению от общепризнанных правил морали и в других областях. Воскресает старое правило: „хорошая цель оправдывает и плохие средства", вследствие чего появляются на сцену всякие хитрости, уловки, мелкий иезуитизм и т. п. (не говоря уже о таких крайних примерах, как пресловутые, позднейшие „экспроприации" или акты насилия в товарищеской среде, вроде кулачной расправы со Смирновым).

Сам Сажин преспокойно рассказывает, что целью его пробного вступления в редакцию будущего Лавровского журнала было, между прочим, и желание получить доступ ко всем связям и адресам редакции в России, конечно, в расчете— пользоваться ими и после вероятного разрыва. Тот же Сажин с улыбкой рассказывает о ловкой проделке Ткачева, который, поселившись у „впередовцев" в качестве единомышленника и сотрудника, строчил все это время резкую брошюру против Лаврова, тайно печатая ее во враждебной Лаврову типографии Росса... Ловко, мол, и чертовски забавно!... [1]). Но, конечно, Лавров—благовоспитанный человек из хорошего общества, 50-ти лет от роду, с твердо установившимися правилами морали и порядочности—не мог быть при-

---

[1]) Не могу не вспомнить по этому случаю восклицания Ткачева по поводу моих слов о том, что я не мог бежать из тюрьмы при одном чрезвычайно удобном случае, будучи связан данным караульному офицеру честным словом. „Что за архаические предрассудки!—взвизгнул Ткачев.—По моему, честное слово только и годно для того, чтобы добиться какой-нибудь крупной выгоды путем его нарушения". Правда, Ткачев кончил жизнь в сумасшедшем доме, начав с *морального* помешательства. *Прим. Г. Л.*

косновенен к пиратским подвигам некоторых из своих приверженцев; и я никогда не вздумал бы заводить речь об этом обстоятельстве, если бы тон рассказа Сажина и отсутствие всяких оговорок не давали повода некоторым наивным читателям вообразить себе, будто бы эти вещи могли совершаться с ведома и попустительства Лаврова (к слову сказать, владельца обширной библиотеки, которую он всегда охотно предоставлял в пользование всякого желающего). Но так как такое предположение насчет Лаврова оказалось, повидимому, возможным, и так как одна мысль о нем приводила в сильное негодование и крепко огорчала его еще и поныне здравствующую дочь М. П. Негрескул, то я счел небесполезным коснуться здесь и этого пункта.

8. Из моей тесной, многолетней близости с Лавровым я вынес о нем понятие, как о человеке железной воли, твердого непреклонного характера, упорного до упрямства в своих взглядах, неуклонного в своих замыслах, любезного и уступчивого только с виду, в мелочах, но ни на минуту не забывавшего своей главной цели и настойчиво пробивавшегося к ней через все препятствия, скрытного с посторонними и не откровенного беззаветно даже с друзьями, медленно, обдуманно принимавшего свои решения и затем уже не отступавшего от них ни на шаг, и при этом—неутомимого работника, умевшего заставить себя трудиться с успехом даже в несвойственной ему области. „Мягкого“ в этом человеке была только его светская внешность, благовоспитанные манеры да старомодная „любезность“.

На Сажина он производил, очевидно, другое впечатление. Это был, по его словам, „человек чисто отвлеченной мысли“ (142), „книжник, интересовавшийся гораздо больше абстракциями, чем живой действительностью“ (143), притом человек „эластической мысли“ (139), „бесформенных общественных воззрений“ (139), „неопределенных, неустойчивых общественных взглядов“ (139), „совершенно беспомощный в практических и жизненных вопросах“ (142), а потому „лишенный самостоятельности, как в поступках своей частной и личной жизни, так и при решении практических задач тогдашней общественности“ (145), поэтому он „легко поддавался влиянию других лиц“ (145), быстро соглашался с ними“ (145), „чем и объясняется ряд противоречий в его поступках“ (145) и то, что он „легко изменял принятые решения“ (145). Его жизненная непрактичность доходила до того, что „*бедный* Петр Лаврович и не подозревал, что он наделал своими „Историческими письмами“ и какими

глазами смотрят на него в России молодежь и правительство". Неудивительно поэтому, что Сажин „с товарищами" могли относиться к программам такого человека только „иронически" и „просматривали" их „только поверхностно", что, впрочем, отнюдь не стесняло строгости их суждений об этих программах.

Оспаривать чужие *впечатления* и построенные на них суждения, понятно, мудрено. Но вот, что я хотел бы спросить беспристрастного читателя: не странно ли, что человек такого ума и характера, каким является Лавров в воспоминаниях Сажина, так долго стоял во главе движения, называвшегося по его имени; что он целые годы издавал журнал, а потом газету, выходившую с аккуратностью Пыпинского „Вестника Европы"? Что его приверженцы в России были настолько сильны авторитетом его имени, чтобы собирать из мелких крох многочисленных сочувственников достаточные средства для поддержки этих изданий, для их транспортировки через границу и для распространения их на родине? А когда он вынужден был отойти от этого дела, то созданная под его эгидою храмина быстро рассыпалась мелкою пылью?

Кстати: обстоятельства того времени очень походили на нынешние. Шла война и тоже „освободительная". Рядовые „впередовцы" („лавристы" — тож) находили, что, в виду живого военного одушевления и сравнительного равнодушия публики ко всему другому, следует приостановить на время партийные издания. Напрасно Лавров горячо уговаривал их не делать этого, говоря, что военные успехи и неудачи не исчерпывают еще *всех* интересов страны; что, освобождая другие народы, не худо помнить и о собственном отечестве; что нужно думать не только о войне, но и о будущем, после-военном времени, что не следует опускать старого, заслуженного знамени и покидать хорошо налаженное дело, что надо постараться „перештурмовать" как-нибудь трудное время, так как продолжать легче, чем начинать или возобновлять упадшее сызнова... Все было напрасно... Приостановка издательства была решена. И Лавров резко разорвал с бывшими товарищами, с гневом и отчаянием в душе.

Кончилась война. Но „Вперед" не восстал из мертвых. И самое имя „впередовцев"—alias „лавристов"—изгладилось мало-по-малу из памяти людей... Мне скажут, может быть, что „Вперед" был создан и поддерживался молодыми, энергичными и практичными сотрудниками Лаврова, вроде Смирнова, игравшего при Лаврове приблизительно ту же роль, что

Росс при Бакунине. Но где эти люди? Что сталось с ними без Лаврова? Покойный Смирнов был умный, дельный, неутомимый, энергический помощник. Покойная Идельсон тоже была ценная сила, так же как и покойный Подолинский. Но почему же, разорвав с Лавровым, они отошли от общественных дел и погрузились в полную неизвестность, оставаясь однако все время хорошими, честными, просвещенными, передовыми людьми? Почему *все* умные, энергические, дельные сотрудники Лаврова внутри России, в том числе и здравствующий поныне автор пресловутой „Хитрой Механики", тоже потонули, после разрыва с Лавровым, в полной неизвестности?

Все они тоже остались хорошими, честными, деятельными людьми—по крайней мере те пять или шесть главных „лавристов", о которых я имею сведения,—но все они успокоились на лоне обывательщины: служат в банках, в страховых обществах, в госпиталях и т. п., иные работают в таких почетных учреждениях, как Вольное Экономическое Общество и новейшие кооперативы, но все они давно покинули ряды передовых застрельщиков, давно перестали быть членами „воинствующей церкви" и не принадлежат к „действующей армии" друзей и приверженцев нового строя.

А Лавров остался на бреши, в ожидании нового поднятия революционной волны. И когда „Народная Воля", расстроенная и потрясенная, вследствие сцепления множества причин и, между прочим, центральных предательств, сочла нужным реорганизовать свои силы за границей вокруг солидного журнала, она обратилась за помощью к старому ветерану Лаврову, и он немедленно отозвался на призыв и долго, усердно и успешно поддерживал новое издание, новую *действенную* партию, новое знамя, пока они не пали под ударами таких факторов, с которыми нельзя было бороться из-за границы.

А Лавров снова остался стоять на страже революционных заветов, в ожидании подхода новых, молодых сил... И так стоял он, как могучий кряжистый дуб, „светоч, возженный на верху горы", до самой своей смерти, окруженный почтением и симпатиями русских и иностранных социалистов, шедших к нему за участием, советом и посильной помощью и никогда не встречавших отказа в этом со стороны этого несокрушимого человека долга и идеала... Спрашиваю опять: не странно ли все это для человека такого ума и характера, каким является Лавров у Сажина? По-моему,—очень странно. Но, конечно, возможно и то, что Сажин просто—ошибся в своей оценке личности и деятельности Лаврова.

К истории „Вперед“.

III [1]).

Письмо в редакцию.

В своей статейке о Л. С. Гинсбург („Речь“, № 348) Д. Рихтер говорит: „Лавров в конце концов отказался от редактирования журнала“. Это неверно. Д. Рихтеру изменяет память. Лавров никогда не отказывался от редактирования газеты и журнала „Вперед“; это издававший их русский кружок решил приостановить свое издательство по случаю войны. Лавров горячо отговаривал членов кружка от этого решения и умолял их не опускать старого знамени и не прекращать хорошо налаженного дела, но тщетно. И вот это-то именно обстоятельство и повело к его разрыву с прежними сотрудниками и к полному прекращению всяких сношений со всеми ими за исключением Р. Х. Идельсон, с которой он продолжал видеться от времени до времени и позже в силу чисто личных отношений.

Первые дни революции.

Из дневника [2]).

Пятница 24 февраля 1917 г. Чужой дом. Убийственное перо. Заводы, фабрики, мастерские бастуют. Трамваи остановились. Невский запружен толпами народа. День солнечный. Похоже на гулянье. Но вдоль обоих тротуаров полиция конная и пешая, жандармы и войска. Полиция жмурится, но не задирает. Войска же, особенно казаки, выше похвал: корректны, доброжелательны, улыбчивы, ласковы. Власти знают, что армия ненадежна и не будет стрелять в голодных. Казаки ласково просят: „Идите каждый своей дорогой, куда кому нужно, а главное — двигайтесь, а не стойте“.

[1]) Напечатано, в виде письма в редакцию, в газете „Речь“, 1916, от 20 декабря, за подписью автора.

[2]) Напечатано в газете „Одесские Новости“, 1917, 12 марта. Здесь приводится с поправками автора.

Стоим. Офицер выезжает на панель с казаками, чтобы рассеять и сдвинуть с места скопище, но делают это шашком, осторожно, уговаривая словесно. Я сам стою в давке, спокойно оперщись на круп казачьей лошади, да еще офицерской. Народ, видя доброжелательство войск, кричит им „ура", „спасибо". Вечером голодные беспорядки: разгромили и разграбили Филиппова и некоторые другие булочные.

25, суббота. Дела смотрят посерьезнее. Кое-где прокламации, призывающие „товарищей" (рабочих и учащуюся молодежь) на митинг к Казанскому собору и подписанные „Временное Правительство". В толпах больше сознательности: покушающихся громить лавки и грабить останавливает и стыдит сама толпа. Еще большим негодованием встречаются и останавливаются попытки разбросать петарды на пути конных войск. Однако, правительству надоела эта идиллия и оно пригласило через полицию учебные заведения, банки и др. учреждения не выпускать своих людей на улицу, где будут приниматься сегодня против скопищ самые крайние меры, вплоть до стрельбы.

Однако часов до 5 Невский запружен народом. Много студентов. Видны красные флаги с надписями: „Долой самодержавие", „Требуем объединенного ответственного миниттерства" и т. п. Войска по-прежнему миролюбивы и дружественны, но полиция озлоблена и нахмурена.

Происходит ряд вооруженных столкновений с пролитием крови:

1) Рабочие выступают en masse из патронного завода (на Васильевском Острове), чтобы направиться, куда им надо. Полиция и казачий отряд препятствуют их выходу. Те напирают. Офицер велит стрелять (говорят, трижды). Казаки не сповинуются. Тогда он сам стреляет из револьвера и убивает слесаря. Толпа с ревом бросается на него. Он спасается на заводе и прячется. Последнее, что я слышал о нем вчера вечером, это то, что толпа его ищет и караулит его появление, чтобы убить его. Позже, говорят, нашли и убили.

2) В 5 час. вечера, видя толпу, наступающую от Знаменья к Казанскому собору, стоявшая против Думы поперек Невского учебная команда 9 кавалерийского полка опускается на одно колено, и, без команды и без предостерегающего сигнала трубою, открывает огонь. Мой приятель, случайно бывший тут, насчитал 8 трупов и до 20 раненых. Некоторые уверяют, будто это были вовсе не солдаты (на коих мало надежды), а переодетые городовые.

3) На Знаменской площади было много митингов и речей. Вышло там вооруженное столкновение казаков с полицией. Полицейский офицер, начальник взвода конной полиции, видя неповиновение казака приказу стрелять, а м. б., услыша вдобавок и дерзкий ответ, направил на него револьвер. Но казаки бросились на выручку товарища, причем один из них раскроил ему шашкой голову, после чего тот упал, а толпа затоптала его.

4) На Выборгской рота Преображенского полка, охранявшая Литейный мост, оказалась ненадежной. Ее отвели. Полиция стала действовать по-своему, но толпа убила полициймейстера Шалфеева, какого-то частного пристава, одного околоточного и 2 городовых.

5) Рассказывали отдельные случаи зарубленных или затопленных женщин и т. п., которые все не перечислишь.

Но рядом с этим передавали не мало случаев, когда казаки становились между народом и полицией, мешая последней стрелять и пр. Это всего характернее для сегодняшнего движения. Говорят, Родзянко поехал в Царское Село уговаривать царя согласиться на объединенное министерство, пользующееся общественным доверием. Говорят, что завтра будет перемирие, а в понедельник война возобновится. Посмотрим.

26, воскресенье. Многие думали, что, благодаря вчерашней стрельбе, народ не потерпит перемирия. Однако, мы гуляли сегодня по Невскому: ни скопления народа и публики, ни солдат, ни казаков, одним словом, ничего особенного. Сейчас 3 часа и тоже ничего.

Рано немножко я сказал „ничего". В 4 часа меня уже не пустили с Морской на Невский. Заставили идти на Васильевский обходным путем. Мосты и перекрестки заняты солдатами. По улицами скачет кавалерия. Уверяют, что где-то уже стреляли. При громадности здешних расстояний и отсутствии трамваев, трудно попасть всюду или даже только в главные пункты. Брожу повсюду. Но почти ничего не вижу и расспрашиваю у соседей о том, что находится или делается в 5-ти шагах от меня. Так же плохо слышу окрики и указания конных и пеших урядников и еще хуже понимаю их. Нехорошо.

Вчера вышли только „Речь" и „Новое Время", а сегодня они не вышли. Сидим без газет.

За обедом (поздним) прибегают вестники, идет стрельба у Казанского собора, у Аничкова дворца, у Литейной, особенно на Знаменской площади. Стреляют из пулеметов,

поставленных на крышах и в окнах домов. Мне телефонируют из Обуховской больницы, что подвозят раненых городовых и рабочих, а с Лиговки сообщают, что там идет горячий бой около вокзала. О, Господи, если бы было объединение, общий план, один управляющий центр, которому можно было бы подать добрый совет. Ведь, если бы массы пошли на Царское Село, то, при общей ненависти к царице, можно смело сказать, что войска не оказали бы сопротивления. Правда, там приняты меры; окрестности дворца минированы, заложены фугасы, собраны испытанные, особо верные и преданные воинские части. Но один нижний чин из этих „верноподданных" говорил, что они „постреляли бы вверх, только для виду".

Я ошибся, говоря, что Родзянко ездил к царю. Тот был в ставке. Он ездил к царице уговаривать ее повлиять на царя в виду критического положения дел и отчаяния народа. С ней говорят обычно по-французски, но она завершила свой ответ такой фразой:

„Скажу вам на вашем грубом русском языке: „Мне наплевать на отчаянье народа" и пр.

„Ну, это что-то совсем не по придворному", возражает собеседник.

„Разве вы не знаете, что Распутин научил ее даже всякой похабщине, и она отлично справляется с этим словарем".

Вечером узнал, что взбунтовался Павловский полк, убил командира и пошел (частью) на соединение с манифестантами. По дороге встретился с отрядом конной полиции и открыл по нем огонь. Командовавший бунтовщиками офицер от потрясения впал в быстрое помешательство и сбежал, а солдаты вернулись в казармы к невооруженным и невыступившим товарищам. Сейчас эти казармы, по слухам, осаждаются преображенцами, тоже не очень надежными. На Знаменской отличаются пресловутые семеновцы.

Какой-то крупный военачальник послал Родзянке письменное заявление, что войско будет с Думой. О, если бы Дума поняла свою силу, если бы она не повторила ошибки 1905 г. и поспешила арестовать всех глав реакции, вроде Протопопова, Штюрмера, Щегловитова, Фредерикса и др., якобы для предания их суду за государственную измену, а также подлую мелочь, вроде Дубровина, Орлова и пр., и потребовала смещения всех командиров с немецкими именами и симпатиями. Но боюсь, что они опять проворонят дело из любви к политиканству и из страха перед вмешательством в политику народных масс.

То место речи Керенского, которого добивается князь Голицын для предания суду по 102 ст., вкратце таково: „Что мы гремим против Протопопова и правительства? Ведь министры только послушные слуги главы государства и не довольно ли слов? Все хорошие и сильные слова давно уже сказаны. Пора перейти к физическому воздействию, памятуя им, Брута и иных устранителей тиранов". А на последнем заседании Думы Родичев восклицал: „Наступил 12-й час. Не пропустим же его" и пр.

Протопопов говорит своим клевретам: „Россия это—глыба драгоценного мрамора, из коего можно высечь дивную статую. Но едва начнут обсекать углы, как глупцы кричат, что портят мрамор. Но я сумею создать великую, чудную Россию". А жена Протопопова говорит в своем кругу: „Как это думцы, повидимому, умные люди, не понимают, что А. Д. невменяем, что это ненормальчый, больной человек? Неужели они поверят этому лишь тогда, когда он явится в Гос. Совет без порток и проделает публично одну из своих эротических выходок"?

Уверяют, что великий князь Дмитрий Павлович уже живет в Подмосковной [1]). Есть немало и др. сплетен. Но что значат они с сегодняшними знаменательными фактами...

Газет сегодня никаких, даже правых. Левые забастовали добровольно, а в „Нов. Времени" и „Прав. Вестн." народ разбил типографии. Пока все тихо, но ведь все эти дни рабочие выступали лишь пообедавши, т.-е. после двух часов. Иду на разведки.

28. вторник. Чтобы описать все виденное, пережитое и перечувствованное мною в этот навеки незабвенный для меня день, самый счастливейший день моей жизни,—понадобились бы целые томы. Конечно, я весь день и вечер провел в толпе восставших рабочих и передавшихся на их сторону солдат, присутствуя при их подвигах и поражениях. Ах, что бы я дал вчера, чтобы бродить под руку с какой-нибудь зрячей спутницей! Мои глаза, ведь, теперь очень плохи. Попадал, конечно, не раз под обстрел из винтовок и пулеметов, оставаясь стоять даже тогда, когда мои случайные товарищи временно разбегались, ибо быть сраженным пулею в такой торжественный день на склоне жизни я счел бы за счастье...

---

[1]) Известно, что вел. князь Дмитрий Павлович был выслан царем зимою 1916 г. в Персию за участие в убийстве Распутина. *С. Ш—х.*

К ночи очутился в Думе, где шли заседания думского совета (Временного Правительства) и совета рабочих депутатов.

Излагать фактов и моей критики не в силах, да и спать хочу до смерти, ибо всю ночь провел там. Завтра пошлю те печатные произведения, которые вышли в эту ночь. Сейчас отнесу эти строки на почту на авось.

Поблажки династам.

(Письмо Военному Министру А. И. Гучкову [1]).

Гражданин Военный Министр.

Вплоть до появления отречения, Временное Правительство, по известным только ему соображениям, все время держало народ в полной неизвестности касательно местопребывания царской семьи, ее свободного или несвободного состояния и др. что породило не мало тревог в умах граждан.

А сегодня эти тревоги возрасли еще более, вследствие сообщения об отъезде бывшего царя в ставку. К чему это допущено? Почему не предложено царской семье отбыть заграницу или в один из крымских дворцов? Зачем допускать возможность трогательного прощания с войсками, с невольно вызываемыми при этом чувствами умиления, сострадания и проч.?

А что, если появится вдруг манифест такого рода: „Побуждаемый *неотступными мольбами* нашей героической армии, я чувствую себя вынужденным поднять снова бремя правления, в полном согласии с народными представителями, а посему беру назад свое отречение“ и проч.

Кому этот сюрприз придется по вкусу, кроме разве неисправимых доктринеров парламентарской монархии? Но и помимо этой опасности, чего ради вызывать ненужный взрыв сантиментальных чувств, и без того достаточно вызываемых трогательной редакцией отречения?

---

[1]) Послано А. И. Гучкову по поводу сообщения столичных газет о том, что Николай II выехал 2 марта 1917 г. из Пскова в ставку, т.-е. после отречения от престола пытался влиять на управление армией. Печатается по тексту, опубликованному в газете „Русская Воля“, 1917, № 8, от 10 марта — *С. Ш—х.*

Затем: для чего общее командование всеми армиями передано в руки великого князя Николая Николаевича? Не достаточно ли было бы оставить великого князя на его нынешнем посту под прекрасным предлогом крайней отдаленности азиатского и европейского театров войны? Что же касается до согласования действий этих двух фронтов, то оно отлично могло бы достигаться тем же путем взаимного осведомления и соглашений, каким оно достигается по отношению к армиям наших союзников. Пользы от принятой меры не предвидится никакой, а вреда она может принести немало по многим неперечисляемым здесь причинам.

Вот те тревожные мысли, волнующие умы многих верных и преданных сынов нашей родины, которые я считаю долгом высказать вам, гражданин министр, в самой краткой форме, чтобы не отнимать более, чем нужно, вашего драгоценного времени.

Герман Лопатин.

3 марта 1917 года.
Дом Писателей [1]).

Копия этого письма была препровождена автором одновременно в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов и оно также было прочитано на заседании василеостровского районного комитета партии социалистов-революционеров. На этом заседании Г. А. Лопатин заявил, между прочим:

Царь и в особенности царица до такой степени уронили себя в глазах народа и общества, что перестали быть опасными: никакая принятая против них мера никого не взволнует. К остальным членам царствовавшего дома народ и общество тоже, если не резко враждебны, то равнодушны, ничего не зная о них, кроме появляющихся от времени до времени слухов о крупных кабацких скандалах.

Но Николай Николаевич — иное дело. Нельзя отрицать, что он пользуется, хотя и неосновательно, не малою популярностью и в армии, и в народе, и даже в средних, мало осведомленных, кругах общества. Все совершившиеся во время его командования „победы и одоления“ приписываются его воинским талантам, хотя в действительности достигнуты они вовсе не благодаря ему, а скорее несмотря на его часто неудачное вмешательство.

---

[1]) Печатается по тексту „Русской Воли“ (от 10 марта 1917 г.), просмотренному автором.

Странно сказать, но даже его общеизвестная грубость и несдержанность, вплоть до площадных ругательств, „рукоприкладства“, своеручного срывания погонов с офицеров и генералов — не только не вредили, а скорее шли ему на пользу в глазах солдат, которые, не гонясь в простоте души за формами, видели в этих выходках строгое, но беспристрастное применение взысканий к служащим всех рангов, не взирая ни на какие чины. Но всего более возвысило его в глазах армии, народа и общества удаление его от верховного командования, приписанное его неустанной борьбе с „немкой“ и ее немецкими ставленниками—предателями и изменниками России — за более энергическое ведение войны.

И вот, этот единственно-популярный династ стоит во главе большой, боевой, обстрелянной армии, на которую он может опереться в крайнем случае, хотя бы, например, в случае низложения династии и изгнания на веки вечные из пределов России всех членов царствовавшего дома. Так не безумие ли еще более увеличивать силу этого человека — возможного главы контр-революции — сосредоточивая в его руках верховное командование всеми армиями [1])?

С. Ш—х.

---

[1]) Как известно, через несколько дней после отречения царя, великий князь Николай Николаевич был отстранен Временным Правительством от командования армиями.

IV.

СТИХОТВОРЕНИЯ.

НА НОВЫЙ ГОД [1]).

Пусть будет легок этот год
Тому, кто, распростясь с мечтою,
Давно уж ничего не ждет
И не лукавит сам с собою,

Кто день и ночь, простершись ниц,
Лишь в прошлом мыслию витает
И от немых его страниц
Потухших глаз не открывает,

Кто в нем с печалью видит ряд
Чужих грехов, своих ошибок,
Толпы суждений наугад,
Ее проклятий и улыбок,

Кто жизни прежние судьбы
То так, то этак изменяет
В своем уме, и ход борьбы
Стезею новой направляет;

Затем, прогнав мечту от глаз
И вновь отдавшись новой муке,
С тоскою новой каждый раз
Бессильные ломает руки...

Так пусть скорее для него
Влачится тягостное время,
Пусть легче давит грудь его
Бесплодной, праздной жизни бремя;

Пусть равнодушней он несет
Судьбы безжалостной причуды,
Врагов неумолимый гнет,
Друзей со скуки пересуды...

Пусть чаще освежает сон
Его усталые зеницы,
Пусть легче, глубже дышит он
Под сводом каменной гробницы...

1 января 1900 г.

---

[1]) Печатается по рукописи, переданной мне автором; правописание сохранено, за исключением требований новой орфографии.

СТУЧАЩИЕ ДУХИ [1]).

Таинственно шепчут спириты
На темных сеансах своих,
Что духи стучащие скрыты
В стенах, окружающих их.

Не дерзкая публика шумно
Хохочет и громко кричит,
Что это смешно и безумно,
Что дух не визжит, не стучит.

О, если б из всуе—мудрящих
Один был сюда приведен,
Как скоро бы в духов стучащих
Уверовал твердо здесь он!

1887.

СУГУБАЯ ЛИТОГРАФИЯ [2]).

Да, нужен ум не слишком грубый,
Чтоб догадаться без труда,
Что называем иногда
Мы литографией сугубой.

ОРЕШЕК [3]).

Гражданской вольности сыны,
Служа ей твердо, без измены,
В защиту прав родной страны
Воздвигли встарь здесь эти стены.

---

[1]) Печатается с переданной мне автором рукописи, где оно первоначально было озаглавлено: „Сугубая Литография“; заглавие заменено впоследствии по указанию автора. Написано по поводу перестукиваний заключенных в Шлиссельбургской крепости—единственного способа их бесед друг с другом. См. об этом в воспоминаниях Г. А. о В. А. Караулове.

[2]) Записано под диктовку автора в Доме Писателей в 1916 году. См. стихотворение под заглавием: „Стучащие духи“.

[3]) Печатается по рукописи, переданной мне автором. Орешек—древне-русское название Шлиссельбурга.

Но новгородский тот орех,
Взращенный здесь на зло врагам
И больно крепкий, как на грех,
Раскусывать досталось нам...

Оплот свободы в час недоли
Погреб друзей „народной воли“,
В твердыне вольности—рабы...
О ты, ирония судьбы!

1887.

СТАНСЫ.

Сквозь тюремную решетку
Вольный месяц глянул,
В бездну вечности день целый
Не прожитый канул...

Сквозь тюремную решетку
Смотрит месяц вольный,
Душу давит гнет свинцовый,
Тяжело и больно...

Сквозь тюремную решетку
Вольный месяц светит,
На призывы сердца лаской
Кто мне здесь ответит.

Сквозь тюремную решетку
Блещет месяц вольный,
И к очам упрямым слезы,
Крадутся невольно.

VII. 87.

НА ИМЕНИНЫ ВЕРЫ ФИГНЕР.

Пусть ты под сводами могилы этой адской
Погребена,
Но ты и здесь любовью нашей братской
Окружена.

Пусть тяжело подчас суровой жизни бремя
Нести одной,
Но знай, что мыслями и чувством в это время
Мы все с тобой.

Пусть волей, злой судьбы родных, друзей и света
Ты лишена,
Но все же в этот день ты здесь не без привета
И не одна.

17. IX. 87.

НА 13 ЯНВАРЯ ВСЯКОГО ГОДА [1]).

Как много лет уж позади.
Как мало их уж впереди.
Как тускло, трепетно горит
Лампада жизни, чуть мигая,

В унылом склепе. Как чадит
Ее светильник, догарая.
Какой тоскливой чередой
За скучным днем ползет другой,

За годом новый год влачится,
Как кровь, что медленной струей
Весь день из раны роковой
Сквозь бинт без удержу сочится.

13. I. 89.

НА СМЕРТЬ АРОНЧИКА [2])

Он долго жил меж нами. Мы
Его движений не слыхали.
Ему раскрылась дверь тюрьмы:
Мы в гроб его не провожали.

О самом имени его
Мы по догадкам лишь удили.
Нам не поведав ничего,
Так и сокрылся он в могиле.

---

[1]) 13 января—день рождения Г. А. Лопатина.

[2]) Апз. Б. Арончик — студент-путеец, агент Исполн. Комитета „Народной Воли“, участник ее многих террористических предприятий; осужден на бессрочную каторгу по делу 20-ти народовольцев в 1882 г., содержался в Александровском равелине Петропавловской крепости, где в 1884 г. сошел с ума. Переведен в Шлиссельбург, где умер в апреле 1888 года.

Беззвучно прожил он меж нас,
Затем исчез навек бесследно,
Чтоб вспоминаться нам подчас
Лишь как какой-то призрак бледный.

1. IV. 88.

HORAE.

Vulnerant omnes, ultima necat.

Опять часов унылый звон.
Из церкви к нам, дрожа, несется.
Опять в груди усталой он
Колючей болью отдается.

Напоминая каждый раз
О том, как время жизнь уносит,
Как каждый проходящий час
Нам рану новую приносит,
Пока последний час пробьет
И окончательно добьет...

4. IX. 89.

DIES NATALIS [1]).

И для меня певали соловьи,
И для меня цвели и рдели розы,
И мне шептали встарь слова любви
С улыбкой детскою сквозь слезы.

И для меня полночная луна
Поля и лес роскошно серебрила,
И мне не раз пребрежная волна
Свои секреты говорила.

И на моей груди в ночной тиши
Девичье сердце робко трепетало,
И я благословлял от всей души
Беззвездной ночи покрывало.

И у меня весной в тени лесов
Кружилась голова и меркли взоры,
Когда отвсюду птичьих голосов
Немолчные гремели хоры.

Печатается по рукописи, переданной мне автором

И я в те дни порой едва дышал,
Чтоб не спугнуть стыдливой женской ласки,
И поцелуями без счета осушал
От счастья плачущие глазки.

И мой тернистый путь, в степной глуши,
Где все кругом безжизненно молчало,
Дитя любви, дитя моей души
Улыбкой нежной освещало.

Бывало и со мной, что в ранние часы
Внезапной бурей ласк от сна меня будили,
И мне, смеясь, кудрявые усы
Рученкой дерзкой теребили.

И предо мной вздымались выси гор,
И надо мной синел шатер небесный,
И мне слепил глаза морской простор
И волн лазурных блеск чудесный.

И мне в лицо пленительно дышал
Живительный и сладкий воздух воли,
И я ведь не всегда с гримасою жевал
Сухой и горький хлеб неволи.

Да, да, и мне капризная судьба
Свои улыбки посылала,
И мне она порой, как верная раба,
Восторгов чашу подавала.

Но чаша та уж выпита до дна.
Тем старым дням уже не возвратиться:
Сам вижу я, как ясно седина
В усах местами серебрится...

Так диво ли, что хмурится чело
При мысли о минувшей доле,
О том, что было и прошло,
Чего уж мне не видеть боле.

13 января 1890 г.

НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ [1].

Пусть славит год грядущий тот,
Кто чает в нем себе отрады
И от судьбы бездушной ждет
За подвиг доблестный награды,

Кто вновь надеется пожить,
По всем усопшим справить тризну
И жертвы новые сложить
На алтаре святой отчизны.

А я свой дар уже принес,
Мне новой не видать денницы
И не восстать из-под колес
Джагернаутской колесницы.

[1]) 1 янв. 1889 г.

НА НОВЫЙ ГОД [2]).

Пусть будет легок этот год
Тому, кто, распростясь с мечтою,
Давно уж ничего не ждет
И не лукавит сам с собою,

Кто день и ночь, простершись ниц,
Лишь в прошлом мыслию витает
И от немых его страниц
Потухших глаз не отрывает,

Кто в нем с печалью видит ряд
Чужих грехов, своих ошибок,
Толпы суждений наугад,
Ее проклятий и улыбок,

Кто жизни прежние судьбы
То так, то этак изменяет
В своем уме, и ход борьбы
Стезею новой направляет;

Затем, прогнав мечту от глаз
И вновь отдавшись новой муке,
С тоскою новой каждый раз
Бессильные ломает руки...

---

[1]) Печатается с рукописи, переданной мне автором.

[2]) Печатается с рукописи, переданной мне автором.

Так пусть скорее для него
Влачится тягостное время,
Пусть легче давит грудь его
Бесплодной, праздной жизни бремя;

Пусть равнодушней он несет
Судьбы безжалостной причуды,
Врагов неумолимый гнет,
Друзей со скуки пересуды...

Пусть чаще освещает сон
Его усталые зеницы,
Пусть легче, глубже дышит он
Под сводом каменной гробницы...

1 января 1900 г.

НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ [1].

С Новым Годом, милый Аш [2],
Если только в возраст наш
Стоит славить каждый год
Быстрый времени полет.

1 января 1900 г.

ВЕСЕННИЕ МУКИ.

За стенкой высокой буря завывает.
На просторе вольном озеро бушует,
Громко плещет в камни буйною волною,
В небе мчатся тучки, манят в даль с собою...

Ах, порхнуть бы через стену легкой пташкой;
Ах, нырнуть бы через реку бойкой рыбкой;
Ах, мелькнуть бы меж кустами резвым зайцем;
Ах, исчезнуть бы из виду сизой дымкой;

Распрощаться бы навеки с тесной клеткой,
С ледяною атмосферой безучастья;
И припасть бы вновь с сыновней лаской
К теплой груди матери-природы.

Я к земле сырой приник бы жарким ликом,
Я б лежал ничком с простертыми руками.
Я б лобзал траву горячими устами,
Надрывался бы от страстных я рыданий.

1 мая 1900 г.

---

[1] Записано под диктовку автора.
[2] Шлиссельбуржец М. Ю. Ашенбреннер.

ПОСЛАНИЕ.

(По поводу перевода в другую камеру Людмилы Волькенштейн).

Скажи, зачем, буянка Мила,
Стекло в окне ты раздавила?
Зачем на общую беду
Ты вдруг покинула „орду“?

Скажи, на долго ли ты скрылась,
В углу сироткой притаилась,
И, чтоб свести с ума всех нас,
В покров безмолвья облеклась?

Ах, Мила! Ты еще не знаешь,
Как много ты сама теряешь
Тем, что сбежала ты от нас
Как раз в тот многодумный час,

Когда, прижавши пальцем нос,
Решаем важный мы вопрос:
„Коль беспристрастно посмотреть,
Что лучше: жить иль умереть?“

. . . . [1]

Но если скучен с прежних пор
Тебе наш философский спор,
То сердцем женским в добрый час
Попробуй, пожалей ты нас!

Скажи же: долго ль нам страдать
И терпеливо ожидать,
Чтобы вернулась на житье
Ты в царство старое свое?

---

[1]) Г. А. Лопатин собирался продиктовать недостающие, довольно многочисленные, строфы этого стихотворения, но не удосужился и высказывал уверенность, что эти строфы сохранились в заграничных материалах, оставшихся после Шлиссельбуржца П. С. Поливанова.

СТАНСЫ.

Последние жизни остатки
Горят, будто хворост в печи.
Куда как дни эти не сладки...
Безумное сердце, молчи...

Чадят эти дни, словно вспышки
Готовой потухнуть свечи
И нет ни на миг передышки...
Безумное сердце, молчи...

МЕЛОЧИ И ШУТКИ [1].

На 8-е ноября [2].

Не странно ли, что много лет назад
Какая-то таинственная сила
Так остроумно, так впопад
Из нас столь многих окрестила
В честь райского жандарма Михаила.

В КЛУБЕ.

В клубе страшный кавардак.
Всюду слышишь: лак да лак!
И сам чорт едва ли скажет,
Кто кого тем лаком мажет.

---

1) Продиктованы автором.

2) По поводу того, что 8 ноября—в день св. Михаила, чуть ни треть населения тюрьмы оказывалась именинниками: М. Ф. Фроленко, М. Ю. Ашенбреннер, М. Р. Попов, М. Н. Тригони, М. Ф. Грачевский, М. П. Шебалин, М. Ф. Лаговский, М. В. Новорусский и др.

ДВА ДУРНОВО [1]).

От нового министра
И новые законы
Последовали быстро:
Нам выдвинули троны
Для пущего веселья
На середину кельи.

Конечно, с...ь публично
Как будто и неловко,
Но поняла отлично
Разумная головка,
Что нужно дать по нраву
И сторожам забаву.

За что нам тут приняться?
Смеяться ли притворно
Иль матерно ругаться
Или молить покорно
Вершителей всего —
Обоих Дурново?

---

[1]) И. Н. Дурново—министр внутренних дел с 1889 г. до 1895 года, П. Н. Дурново—директор департамента полиции с 1884 до 1893 г. При посещении обоими Дурново (в 1889 г.) Шлиссельбургской тюрьмы новый министр спросил сторожей, хорошо ли они служат и тщательно ли наблюдают за заключенными. Сторожа сказали, что не могут видеть узников во время отправления последними естественных надобностей в углу камеры. Вследствие этого было приказано выдвинуть „стульчаки" в поле зрения сторожей, наблюдавших за узниками в „глазок" двери (записано со слов Г. А.).

V.

Библиография о Г. А. Лопатине и дополнительные примечания к его статьям.

Библиография о Г. А. Лопатине.

Н. Я. Аристов. Аф. Пр. Щапов. Спб., 1883, с. 110 (Отзыв Щапова о Лопатине).

П. Л. Лавров. И. С. Тургенев и развитие русского общества.—„Вестн. Нар. Воли“ 1884, № 2, с. 147. (Отношения Тургенева к Л-ну).

Хроника революционной борьбы — „Народная Воля“ № 11—12 (1885).—Перепеч. в кн. „Литература партии „Народной Воли“. Третье прилож. к сборн. „Госуд. преступления в России“, изд. под ред. Б. Базилевского (Богучарского) Париж, 1905, с. 816. (Об аресте и готовящемся процессе Г. Л-на).

М. Н. Хроника революционной борьбы — „Вестн. Нар. Воли“. Революционное, социально-политическое обозрение № 4. Женева, 1885, с. 222. (Об аресте Г. А. Л-на).

Обзор (IX) важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях Империи за время с 1 июля 1884 г. по 1 янв. 1885 г. по делам о государственных преступлениях, с. 3—55. (Попытки к восстановлению „народовольческой“ организации в Харькове, Одессе, С.-Петербурге и других городах; на с. 17—20 биография Г. Л-на до 1884 г.; с. 23 сл.—характеристика деятельности Г. Л-на выразившаяся: 1) в приготовлениях к террористическим предприятиям, 2) в получении революционных изданий из-за границы, 3) в устройстве типографий и выпуске № 10 „Народной Воли“, 4) в сношениях с русскими революционерами, находящимися за границей, 5) в устройстве сношений с различными революционными группами и установлении связей с отдельными личностями. В приложении к обзору напечатаны рукописи, захваченные у Л-на при аресте: 1) Общие начала организации (с. 89—91), 2) Устав местной великороссийской Центральной Группы (с. 93—96), 3) Программа организации

молодой партии „Народная Воля“, писанная рукою П. Ф. Якубовича (с. 97—100), 4) Устав московск. рабочей группы партии „Народной Воли“ (с. 101—103) и 5) Список адресов и заметок, найденных в бумагах Германа Лопатина и Неониллы Саловой (с. 105—127). В том же обзоре даны сведения о деятельности и аресте Неон. Саловой, П. Якубовича и других сопроцессников Лопатина.

Обзор (X) важнейших дознаний, производимых в жандармских управлениях по делам о государственных преступлениях с 1 янв. 1885 г. по 1 янв. 1886 г., с. 37—39. (Об участии Г. Л-на в убийстве Судейкина); с. 39—62. (Об аресте и розысках лиц по списку, найденному у Г. А. Л-на).

Обзор (XI) важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях по делам о государственных преступлениях с 1 января 1886 г. по 1 января 1887 г., с. 1 сл. (Об арестах Серг. Иванова. Б. Оржиха, Ан. Карпенко, П. Хмелевцева, И. Кожина, Ф. Крылова (Воскресенского), Н. Богораза и розысках З. Когана, З. Васильева, Раисы Кранцфельд, Л. Ясевича, Абр. Баха).

Обзор (XII) важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях по делам о государственных преступлениях с 1 янв. 1887 г. по 1 янв. 1888 г., с. 162 — 163 (Приговор по делу Л-на).

(Кн. Н. Н. Голицин). История социально-революционного движения в России. 1861—1881. Глава десятая. Спб. 1887 (печат. в количестве пятидесяти экземпляров). „Русская эмиграция в Швейцарии в 1870—74 г.“, с. 7—8, 68, 77, 102, 116—119. (Биогр. данные и сведения о револ. деятельности Г. А. Л-на с 1866 г. по 1881 г.).

Процесс 21-го. С приложением биографической заметки о Г. А. Лопатине (составленной П. Л. Лавровым). Издание кружка народовольцев. Женева, 1888 (с. I—XXXIV биографический очерк Г. А. Л-на с его характеристикой, написанный П. Л. Лавровым в мае 1888 г.—перепеч. в кн. П. Л. Лавров, Герман Алекс. Лопатин. Петр., 1919, — с. 1—49 процесс;—с. 43—46 обвинительный акт.

Вл. Бурцев. Из моих воспоминаний—„Свободная Россия“ № 1—февр. 1889 г., с. 48—56. (О расколе в партии „Нар. Воля“ в 1883—1884 г.г. („старые народовольцы“ и „аграрники“, и о деятельности Г. А. Л-на в это время).

P. Lawrow. H. Lopatin „Neue Zeit“ 1899, с. 298.

Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892, с. 214, 220, 224. (Из воспо-

минаний М. Драгоманова о И. С. Тургеневе—об отношениях Тургенева к Г. А. Л-ну).

П. Лавров. Народники-пропагандисты 1873—77 годов.—„Материалы для истории русского социально-революц. движения". X. С приложением „С родины на родину" № 5. Издание группы старых народовольцев, Женева, 1895. (Об отношении Л-на к заграничным революц. группам).— Перепеч. Спб., 1907.

За сто лет (1800—1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России, составил Вл. Бурцев. Лондон, 1897, ч. II, с. 76, 80, 84 98, 117, 120, 129, 130. (Хронологические даты к биографии Л-на).

Лафарг. Карл Маркс по личным воспоминаниям— „Нов. Слово" 1897, № 11 (авг.).

П. П. Суворов, Записки о прошлом, ч. I. М. 1898, с. 145—186, (О ген.-губ. Н. П. Синельникове); с. 149—150. (О побеге Г. А. Л-на из Иркутска); с. 187—188. (О попытке освобождения Н. Г. Чернышевского).

А. Тун. История революционного движения в России. Перевод с немецкого под редакцией с примечаниями Л. Э. Шишко. 1904 и сл. изд., с. 307—348. Дополнительная глава. Последний период „Народной Воли" (1881—1887), с. 318. (Участие Л-на в убийстве Судейкина); с. 333—341. (Биография Л-на и работа его по восстановлению „Народной Воли").

Н. К. Михайловский. Последние сочинения, т. II, с. 190—191. Спб. 1905. (Статья—Материалы для биографии Г. И. Успенского: об отношении Г. Успенского к Г. А. Л-ну).

„Энциклопедический словарь. Изд. т-ва Гранат, т. XXVII (биография Г. А. Л-на).

(В. В. Водовозов). Биографическая заметка о Г. А. Лопатине в „Энциклопедическом Словаре". Изд. Брокгауза-Ефрона. Третий дополнительный полутом. Спб., 1906. (Написана по автобиографии Г. А. Л-на).

М. Драгоманов. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым, Казань, 1906, с. 2, 8, 12. (Об отношениях Тургенева к Г. А. Л-ну—перепеч. из кн. „Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену". Жен., 1892).

Хроника социалистического движения в России. 1878—1887. Официальный отчет. М., 1906, с. 229. (О сношениях Л-на с Ад. Бяловеским); с. 257—266. (О деятельности Л-на по восстановлению „Нар. Воли"); с. 275. Об отношениях Лаврова и Тихомирова к Л-ну); с. 278—285. (Ликвидация

кружков, организованных Л-м); с. 296—297. (Об аресте Серг. Иванова); с. 321. (О Лопатинском процессе).

Справочная книга социалиста. Т. IV. Альбом деятелей социализма. Изд-во „Голос", с. 64 (Портрет Г. А. Л-на).

Н. К. Михайловский. Из романа „Карьера Оладушкина". Спб. 1906. (По указанию Н. Геккера („Одес. Нов." № 9587 от 13 янв. 1915 г.) в лице Петра Евгр. Саломирского (Разстанова) выведен Г. А. Л-н).

М. Ашенбреннер. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904 г.г. (Воспоминания) — „Былое" 1906, № 1, с. 57. (О выдаче книг Г. А. Л-ну); с. 70 (о стихах Л-на); с. 71 (о изучении Л-м греческого и латинского языков); с. 73 (о составлении Л-м ежемесячной хроники в журн. „Винигрет"); с. 93 (о переживаниях Л-на по выходе из Шлиссельбурга).

Ф. Волховский. Друзья среди врагов. Изд „Народная Воля". Спб., 1906, с. 3—10. (О участии Г. Л-на и Ф. Волховского в „Рублевом Обществе" и показаниях Г. А. Л-на).

А. Тверитинов. Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на франц. языке в Зап. Европе и о многом другом. Воспоминания. Спб. 1906, с. 85—87. (О попытке автора при посредничестве Л-на напечатать во франц. журналах ром. „Что делать?").

Из писем И. С. Тургенева к П. Л. Лаврову—„Былое" 1906, № 2, с. 214—215. (Лавров о жизни Л-на и о его литературных способностях); с. 214, 216, 218, 219 (отзывы Тургенева о Л-не).

Дегаевщина. (Материалы и документы).—„Былое" 1906, № 4, с. 18, 22, 23. (Об участии Г. А. Л-на в убийстве Судейкина—выдержки из обвинительного акта).

М. Новорусский. Как и за что я попал в Шлиссельбург?—„Былое" 1906, № 4, с. 80. (О возвращении Л-на из Шлиссельбурга).

И. Манучаров. Мой процесс. — „Былое" 1906, № 7, с. 51, 53. (Об арестах по делу Л-на и о предателе Елько).

М. Новорусский. В Шлиссельбургской крепости— „Былое" 1906, № 7. с. 57. (О меткости прозвищ, даваемых Л-м); с. 58—59 (о прогулках Л-на в Шлиссельбурге); № 8, с. 225 (эпиграмма Л-на); — № 12, с. 230 (о столкновениях Л-на с администрацией).—Перепечатано в кн. М. В. Новорусского. Записки шлиссельбуржца. Истор.-революцион. библиотека, изд. Госиздатом. Пет. 1920.

И. Ольгин. Замок ужаса. — „Воля“ № 1 (15 янв.)-1906, с. 5.

Из воспоминаний Н. К. Михайловского о В. Фигнер.— „Воля“ № 2 (19 янв.) 1906, с. 2—3.

(Элпидин). Библиографический каталог. Профили редакторов и сотрудников. Женева 1906, с. 8—9. (Разговор с Г. А. Л-м о финансовой стороне „Вперeда“!, его доставки в России и о агенте III отделения Балашевиче-Потоцком).

Галлерея Шлиссельбургских узников. Под редакцией Н. Ф. Анненского, В. Я. Богучарского, В. И. Семевского и П. Ф. Якубовича. Часть I. Спб., 1907, с. 192—199.—Н. Е. Кудрин (Русанов). Герман Александрович Лопатин (биографический очерк и характеристика личности) с портретом.

Историко-революционный альманах. Изд-во „Шиповник“ под общей ред. В. Л. Бурцева. Спб., 1907 (переп. в 1917 г.) с. 171 (о процессу Л-на); с. 262 (о его деятельности в партии „Народная Воля“); с. 299 (о его аресте).

В. Н. Шаганов. Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке. Воспоминания. Спб., 1907, с. 39—40. (О побеге Л-на из Иркутска и поиски его в Вилюйске).

А. Бах. Воспоминания народовольца. (1882—1885).— „Былое“ 1907, №№ 1—3. (О деятельности Г. А. Л-на в организации „Молодой Нар. Воли“).

Н. С. Русанов. П. Л. Лавров (Очерк его жизни и деятельности)—„Былое“ 1907, № 2, с. 262 (Об участии Л-на в увозе Лаврова из Кадникова в 1870 г.).—Перепечатано в его книге „Социалисты Запада и России“. Спб. 1909.

Э. Серебряков. К истории партии „Народной Воли“ (Показания М. Н. Оловенниковой-Полонской)—„Былое“ 1907, № 6, с. 10 (Отзыв ее о деятельности Л-на по восстановлению „Нар. Воли“).

А. Иванчин-Писарев. Глеб Успенский и революционеры 70-х годов.—„Былое“ 1907, № 10, с. 44—45 (О намерении Успенского написать пов. „Удалой добрый молодец“, героем которой является Г. А. Лопатин, и отзыв о нем).

Н. Н. Фирсов (Л. Рускин). Воспоминания о П. Л. Лаврове.—„Истор. Вестн.“ 1907, № 2, с. 502—503 (О бегстве Лаврова из Кадникова при участии Л-на).

С. Л. Чудновский. Отрывки из воспоминаний 1872—1873 г.г.—Сборник „Наша Страна“. Спб., 1907, с. 343 (Отношение Лаврова к Г. А. Л-ну).

В. Д. Спасович. Семь судебных речей по политическим делам (1877—1887). Спб., 1908. Издание В. Врублевского, с. 207—228 (Дело об отст. кол. секр. дворянине Германе Лопатине, Петре Якубовиче, Николае Стародворском, Петре Конашевиче и других всего 21 человеках, судимых за принадлежность к сообществу „Народной Воли" и за убиение подполковника Судейкина.—Речь в защиту П. Ф. Якубовича).

Собрание автографов и факсимиле. Альбом. Изд. М. М. Зензинова. М. 1908, с. 8 (Автограф Г. А. Л-на—„Никогда не говори—все кончено" Одесса 30-XI—1906 г-).

Большая Энциклопедия. Ред. С. Н. Южакова. Изд-во „Просвещение", т. XXI, с. 717—719 (Биографич. очерк).

Н. Даниэльсон. Заметка к переводу писем К. Маркса и Фр. Энгельса к Николаю—ону.—„Мин. Годы" 1908, № 1 с. 38—40 (О работе Г. А. Л-на над переводом „Капитала" Маркса в 1870 г.).

Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю (Даниельс)ону.—„Мин. Годы" 1908, № 1, с. 50, 51, 53, 56, 57; № 2, с. 205, 208, 210, 212, 217—218, 219, 221. (Отзывы К. Маркса о Г. А. Л-не).

Н. Г. Чернышевский в Вилюйске (по архивным данным).—„Мин. Годы" 1908, № 3, с. 7—8 (О мерах охраны Чернышевского в связи с предполагаемым освобождением его в 1872 г. Лопатиным и сведения о поимке и приметах последнего).

Неизданные письма Ив. Серг. Тургенева к П. Л. Лаврову.—„Мин. Годы" 1908, № 8, с. 24 (Слухи об улучшении участи Л-на благодаря ходатайству ген.-губ. Восточной Сибири Н. П. Синельникова); с. 25 (о хлопотах по поводу ареста Лопатина в февр. 1879 г.).

Э. Бернштейн. Карл Маркс и русские революционеры. I. Маркс и Бакунин.—„Мин. Годы" 1908, № 10, с. 23 (Об отношении К. Маркса к Л-ну).

М. Новорусский. Выход из Шлиссельбурга на волю.—„Мин. Годы" 1908, № 12, с. 2 (О неприменении к Л-ну манифеста); с. 11, 17, 21 (об освобождении Л-на и других шлиссельбуржцев из тюрьмы и перевозе их в Петропавловскую крепость).

Николай Морозов. Г. А. Лопатину (На прекращение его стихотворений, передававшихся стуком). Нач.: „Давно ль под говор струн и музы сладкогласной..."—Сборник „Под сводами". М. 1909 с. 304.

Б. Глинский. Крамола, реакция и террор (Исторические очерки).—„Истор. Вестн.“ 1909, № 9, с. 980—982. (Участие Л-на в побеге Лаврова); с. 1005—1006 (О приезде Л-на в 1874 г. за границу и участие его в журн. „Вперед“); с. 1008 (Вызов Л-на в 1874 г. правительством).

Письма А. И. Эртеля под редакцией М. Гершензона. М. 1909, с. 311.

П. Л. Лавров о себе самом—„Вестн. Евр.“ 1910, № 10, с. 100 (О побеге Лаврова из Кадникова при помощи Л-на).

В. Я. Богучарский. К биографии П. Ф. Якубовича—„Русское Богатство“ 1911, № 5.

В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. Партия „Народной Воли“, ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912, с. 45—46 (Участие Л-на в Исполнит. Комитете „Нар. Воли“); с. 97, 103—104, 113—114, 122 (Участие его в убийстве Судейкина); с. 177 (Деятельность Л-на по восстановлению „Нар. Воли“); с. 342 (О переговорах П. Л. Лаврова с представителем „Свящ. Дружины“ относительно освобождения Л-на из вологодской ссылки); с. 466—468 (О статьях № 10 „Народной Воли“, изд. под. ред. Г. Л-на).

Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. Статья Е. Ляцкого. Примечания М. Н. Чернышевского. Спб., 1912. Вып. I, с. XLIV—XLVII (О пребывании Г. А. Лопатина в Сибири и его бегстве);—Спб., 1913.— Вып. II, с. XXXVII (Сообщение Г. А. Лопатина о напечатании „Пролога“ Н. Г. Чернышевского).

Б. Глинский. Период твердой власти (Исторические очерки). I. Внутренняя политика России в эпоху восьмидесятых годов.—„Истор. Вестн.“ 1912, № 2, с. 667—673 (Попытки Л-на восстановить партию „Народной Воли“).

Е. Колосов. Н. Г. Чернышевский в Сибири. — „Гол. Мин.“ 1913. № 7, с. 273 (О доставлении Лопатиным рукописи Чернышевского „Пролог к Прологу“).

Ч. Ветринский. Гл. И. Успенский в 70-е и 80-е годы. Биографические заметки. —„Русск. Мысль“ 1913, № 9, с. 28—35 (Отношения Гл. И. Успенского к народовольцам и в частности к Г. А. Л-ну).

А. Дунин. Г. А. Лопатин „под квитанцией“ (Из архивных курьезов)—„Русск. Молва“ (газ.) № 95 от 17 марта 1913 г. (О пребывании Л-на в Самаре в 1882 г. во время следования в Вологодскую ссылку).

Рожанов. Записки по истории революционного движения в России до 1913 г. Спб. 1913, с. 221—227 (Участие

Л-на в убийстве Судейкина и деятельность в партии „Нар. Воли"); с. 503—504 (биографические сведения).

А. М. Серебрянников, К пребыванию Чернышевского в Вилюйске—„Сибирск. Архив" 1913, № 5. (О попытке освобождения Чернышевского).

М. Клевенский. И. С. Тургенев и семидесятники— „Гол. Мин." 1914, № 1, с. 7, 11, 12, 26 (Об отношении Тургенева к Л-ну).

Е. Колосов. К характеристике общественного миросозерцания. Н. К. Михайловского. 2. Из рукописей Н. К. Михайловского за 90-е годы.—„Гол. Мин. 1914, № 2. с. 225—230 Об отношениях Михайловского к Г. Л-ну).

Л. Никифоров. Мои тюрьмы.—„Гол. Мин." 1914, № 5, с. 191 (Об аресте Л-на и Волховского за участие в „Рублевом Обществе").

К. Оберучев. Год жизни П. Ф. Якубовича.—„Гол. Мин." 1914, № 7, с. 225—248 (О деятельности Якубовича, Лопатина и др. по данным обвинительного акта по делу 21-го).

Н. Е. Кудрин (Русанов). Фел. Вад. Волховской— „Русск. Богатство" 1914, № 9, с. 364 (Об аресте Г. А. Л-на по делу „Рублевого общества").

(В. Водовозов). Биографическая заметка о Г. А. Лопатине в „Новом Энциклопедическом Словаре" т. XXIV. Изд. Акц. О-ва „Издательское дело бывшее Брокгауз-Ефрон". Петр., 1915.

Тургеневский сборник. Новооткрытые страницы Тургенева. Неизданная переписка. Воспоминания. Библиография— Тургеневский кружок под руководством Н. К. Пиксанова. Изд. „Огни". Петр. 1915, с. XV (О воспоминаниях Л-на о Тургеневе, записанных С. П. Петрашкевич).

В. Богучарский. Общественное движение 60-годов под пером его казенных исследователей.—„Гол. Мин." 1915, № 4, с. 213—214. (Упоминание в отчете Следственной Комиссии 1862-1871 г.г. о Волховском и Лопатине, как основателях „Рублевого Общества").

Ч. Ветринский. Глеб Успенский в его переписке. IV. В начале восьмидесятых годов.—„Гол. Мин." 1915, №4, с. 242; № 5, с 221, 224 (Характеристика Л-на в письме Гл. И. Успенского). IX. Уничтоженная повесть Гл. Успенского и схема очерка „Выпрямила"—№ 6, с. 214. (О ром. „Удалой добрый молодец" и Г. Л-не).

Петр Витязев. П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. II Из рассказов Г. А. Лопатина. III Из рассказов

М. П. Негрескул — „Гол. Мин.“ 1915, № 9, с. 137-145 (О бегстве Лаврова из Кадникова и участии Л-на в его побеге).

Н. (Геккер), Г. А. Лопатин. К семидесятилетию его рождения — „Одесск. Новости“ № 9587 от 13 янв. 1915 г. (Л-н, как человек, его разносторонность, отношения к нему Тургенева, Гл. Успенского, Михайловского).

Н. Десятилетие возрождения. — „Русск. Вед.“ № 259 от 10 ноября 1915 г. Хлопоты об освобождении Л-на в 1905 г. из Шлиссельбурга, о выезде его из Петербурга и прибытии в Вильно).

Евг. Колосов. П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский о балканских событиях 1875-1876 г.г. — „Гол. Мин.“ 1916, № 5—6, с. 335 (Об отношении Л-на к гарибальдийскому движению).

Гарденин (Чернов). Памяти Н. К. Михайловского. Спб. 1917 (Отрывок из письма Г. Л-на к М. Н. Оловенниковой).

А. Н. Александровский. Периодические издания партии „Народной Воли“ — „Гол. Мин.“ 1917, № 7—8 с. 223 (О № 10 „Народной Воли“, вышедшем под ред. Г. А., Л-на).

П. Лавров. Воспоминания о С. М. Гинсбург. — „Гол. Мин.“ 1917, № 7—8, с. 227—228 (О распадении „Нар. Воли“ и отношении к ней общества в 1880-х г.г.).

М. Р. Попов. Мечты о свободе. — „Гол. Мин.“ 1917, № 7—8, с. 257—286 (О пребывании Л-на в последние годы в Шлиссельбургской крепости).

„Искры“ 1917, № 37, с. 292.

„Родина“ 1917, № 12, с. 162.

О. Миртов. Христос Воскресе — „Русск. Воля“ 1917, № 8 (Л—н о февральской революции 1917 г.).

А. И. Спиридович. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886—1916. Изд. второе дополненное. Петр., 1918, с. 455-457 (О участии Л-на в судебном разбирательстве дела Азефа).

„Вестн. Обл. Комис. Внутр. Дел“ 1918, № 4.

А. С. Поляков. Царь — миротворец (Из резолюций Александра III). — „Гол. Мин.“ 1918, № 1—3, с. 225 (Резолюция Александра III по поводу ареста Л-на).

М. Р. Попов. Л. А. Волькенштейн. — „Гол. Мин.“ 1918, № 4—6, с. 73 (О пребывании Л-на в Шлиссельб. тюрьме).

А. С. Поляков. Второе 1 марта. Покушение на имп. Александра III в 1887 г. — „Гол. Мин.“ 1918, № 10—12, с. 239-240 (О показаниях по делу Г. А. Л-на П. Елько и резолюция Александра III по этому поводу).

М. Неведомский. Г. А. Лопатин о своих встречах с Марксом. — „Нов. День“ № от 4 мая 1918 г. (Записанный со слов Г. А. Л-на рассказ о его знакомстве с Марксом, о работе над переводом I тома „Капитала“, о взглядах Маркса на развитие революционного движения в России).

Н. Геккер. Г. А. Лопатин (Ко дню рождения 1845—13 янв. — 1918) —„Одесск. Новости“ от 13 янв. 1918 г. (Отношение Л-на к современным политическим партиям, к революциям 1917 г. и характеристика его, как человека).

Б. Савинков. Воспоминания — „Былое“, кн. 9 (1918), с. 35, 42, 44-46 (Об участии Г. А. Л-на в суде над Бурцевым по поводу дела Азефа).

Г. А. Лопатин. Некролог. — „Бирюч Петроградских Государственных театров“, № 11—12, от 23—31 января 1919, с. 127-128.

С. Ш(трайх). Г. А. Лопатин.—„Жизнь Искусства“ № 49 от 30 дек. 1918 г. (Некролог).

К(ау)ф(ман). Г. А. Лопатин. Некролог.—„Вестник Литературы“ 1919, № 1—2, с. 11.

С. Ш(трайх). Поэзия Г. А. Лопатина (неизданные стихотворения) — „Жизнь Искусства“ № 50 от 3 янв. 1919 г. (Заметка о стихотворениях Г. Л-на с приложением восьми его стихотворений).

Петр Ю. Народоволец-романтик (Герман Лопатин) — „Пламя“ № 36 от 12 янв. 1919, с. 2—4. (Биографический, очерк; первая часть его написана по „Хронике“ Шебеко).

Г. А. Лопатин. — „Северн. Коммуна“ № 192 от 29 дек. 1918 г. (Речь Г. Зиновьева, посвященная памяти Л-на на заседании Петросовета).

Похороны Г. А. Лопатина — „Северн. Коммуна“ № 192 от 29 дек. 1918 г. (Извещение Шлиссельбургского комитета, принявшего на себя устройство похорон Л-на).

Максик—ов. Дочь Лаврова (Памяти М. П. Негрескул)—„Вестн. Литер.“ 1919, № 7, с. 13 (О дружбе ее с Л—м).

М. Н. Г. А. Лопатин.—„Внешкольн. Образование“ № 4—5 Петр. 1919, с. 45-46 (Некролог).

Е. Колосов. У могилы Г. А. Лопатина. — „Сибирск. Записки“ (Красноярск), март 1919.

Б. К смерти Г. Лопатина — „Воля Труда“ № 2 (69) 1919, с. 14 (Некролог и характеристика революц. деятельности Л—на).

П. Л. Лавров. Герман Александрович Лопатин. С предисловием П. Витязева и с приложением „Материа-

лов для библиографии о Г. А. Лопатине", собранных А. А. Шиловым, Петр. 1919. Изд-во „Колос" (1. Предисловие — об отношениях Лаврова и Л-на — 2. Биография Л-на, написанная П. Лавровым, перепеч. из брош. „Процесс 21-го". Женева 1888. — 3. Библиографические материалы о Г. А. Л-не: статьи и заметки Л-на; — переводы Л-на; — книги и статьи о Л-не; — портреты Л-на; — перечень важнейших дел о Л-не, хранящихся в Историко-Революционном архиве). — Отзывы: Р. К. „Вестник Литературы" 1919, № 9. — Н. „Книга и Революция" № 3—4 (1920), с. 35—36.

А. Финн-Енотаевский, Герман Лопатин о Карле Марксе — „Былое", кн. 15 (1920), с. 152-154 (с приложением письма Г. А. Л-на к автору от 6-VII-1906 г.).

Лев Дейч. Памяти ушедших. Г. А Лопатин „Гол. Минувш." 1919, № 5-12 (Биографические сведения, характеристика Л-на, как человека, встречи с ним).

С. Мельгунов. Встречи. I. Г. А. Лопатин — „Гол. Минувш." 1920-1921, с. 94-97 (Л-н у В. И. Семевского, письмо к нему Семевских, рассказы Л-на, упоминание о записях их Амфитеатровым, сборник шлиссельб. стихотворений — „нечто в роде дневника тамошней жизни", письмо Л-на в ред. „Гол. Минувшего").

Р. Кантор. Несколько заметок Германа Лопатина — „Книга и Революция" 1920, № 12, с. 95-96 (Заметки Л-на, на полях кн. В. Я. Богучарского. Партия „Нар. Воли". М. 1912).,

М. Г. Флеер, Русские портреты. 1917—1918. Гозсидат. Спб., 1921, с. 28 (перечень портретов Г. А. Л-на).

В. Короленко. История моего современника, т. III, с. 310 М., 1922 (О попытке Л—на освободить Чернышевского).

А. И. Голополосов. Из приключений старых революционеров. Побег Г. А. Лопатина с каторги. Изд. т-во „Культура". М. 1922 (Запись рассказа Г. А. Л-на о третьем побеге из Иркутска, слышанного А. И. Голополосовым в 1915 г. и тогда же записанного. Рассказ ведется от лица Г. А. Л-на).

Р. Кантор, Гл. Успенский и Г. А. Лопатин (Из переписки Гл. И. Успенского) — „Вестн. Литературы" 1922, № 1 (37), с. 9. (Отношения Успенского к Л-ну и письмо к нему от дек. 1876 г.).

А. Успенская. Воспоминания шестидесятницы — „Былое" № 18 (1922), с. 27 (Л—н и „Рублевое Общество").

Р. Кантор. На грани смерти. Страничка из биографии рабочего-народовольца Петра Антонова. — „Былое", кн. 19, (1922), с. 135 — 138. (Проект воззвания Исп. Комит. по по-

воду предполагаемого убийства прок. Муравьева, найденный у Л-на; характеристика П. Антонова, сделанная Л—м.).

Д. Овсянико-Куликовский. Петр Лаврович Лавров. Из неизданных посмертных воспоминаний. — Сборник статей „П. Л. Лавров". Ред. П. Витязева Изд. „Колос". Петр., 1922, с. 443, 449 (Л-н и отношения к Лаврову).

Т. Райнов. К психологии личности и творчества П. Л. Лаврова. — Там же, с. 167, 169 (о увозе Лопатиным П. Л. Лаврова из Вологодской губ.).

Э. А. Серебряков. П. Л. Лавров. По личным воспоминаниям. — Там же, с. 455, 461, 468 (Отношения Л-на к Лаврову).

Р. М. Кантор. П. Л. Лавров и А. Балашевич-Потоцкий.—Там же, с. 511 (О разговоре Элпидина с Л-м по поводу Балошевича-Потоцкого).

А. А. Шилов. Что читать по истории русского революционного движения? Петерб. 1922, с. 96, 141—142 (Библиограф. указания о „Рублевом обществе" и о „Процессе 21-го").

Алексей Шилов.

Дополнительные примечания.

К стр. 73—74. Элпидин, Михаил Константинович, с. дьякона с. Никольского (Казанской губ.), род. 1836 г.; в 1861 г. удален из Казанского ун-та за участие в беспорядках; привлекался в 1863 г. к дознанию по делу о распространении прокламации „Долго давили вас, братцы...“ и прикосновенности к т. наз. „Казанскому заговору“ и был приговорен Казанскою угол. палатою к каторжным работам на 5 лет. Во время производства дела, в 1864 г., бежал за границу, поселился в Женеве, где занялся издательской деятельностью: журналы „Подпольное Слово“ (1866) и „Общее Дело“ (1877—1890), сочинения Н. Г. Чернышевского и др. В биографической заметке о нем, помещенной в кн. (Н. Голицина). История социально-революционного движения в России. 1861—1881. Глава десятая. Петр., 1887 (печат. в количестве 50 экз.), с. 170—173 о Элпидине сообщаются сведения, подтверждающие слова Г. А. Лопатина: „с особенным прилежанием занимался он (Элпидин) выслеживанием русских агентов . . ., но сам он долго состоял, отнюдь того не подозревая, в самых откровенных отношениях к одному из агентов“. Умер Элпидин в 1908 г. Биографические сведения о М. К. Элпидине см. в статье Ершова в „Голосе Минувшего“ 1913, №№ 6—7, (Казанский заговор) и в литературе о „заговоре“, указанной в кн. А. А. Шилова „Что читать по истории русского революционного движения“. Петр. 1922.

К стр. 88. Рассказ Г. А. Лопатина о третьем побеге из Иркутска, записанный в 1915 г. с его слов, напечатан в книжке А. И. Голополосова, Из приключений старых революционеров. Побег Г. А. Лопатина с каторги. Изд—во „Культура“. М. 1922, 32 стр.

К стр. 126—127. Уже после напечатания мы имели возможность получить автограф письма Г. А. Лопатина к Александру II, найденный среди разрозненных бумаг бывш. III Отделения. Текст, (за исключением двух небольших стилистических отличий (вместо: „преувели-

ченными толками“ (вторая строчка)—в подлиннике: „преувеличенными толкованиями“; вместо: „я постараюсь искупить этот промах“—в подлиннике решительнее: „я употреблю все силы, чтобы искупить этот промах“), вполне сходен с напечатанным в журнале „Вперед!“. Вместе с автографом сохранился, с лондонским штемпелем 18 мая 1874 г., конверт, на котором рукою Г. А. Лопатина надписано: „Private. To His Majesty The Emperor of the Russia. Buckingham palace“.

Дошло ли это письмо до Александра II—неизвестно, никакой пометки на нем не имеется; только оно не было подшито к делу, а сохранялось среди секретных бумаг—агентурных донесений лондонского агента III Отделения А. Ю. Балашевича-Потоцкого. О последнем см. статью Р. М. Кантора „П. Л. Лавров и А. Ю. Балашевич-Потоцкий“ в сборнике „Памяти П. Л. Лаврова“. Изд—во „Колос“, Петр. 1922, стр. 474—511.

К стр. 130—131. В своих воспоминаниях Г. А. Лопатин не совсем верно осветил „петербургский период“ жизни Аф. Пр. Щапова. Записка, о которой говорит Г. А. Лопатин не была заменою „допросных пунктов“. В деле бывш. III Отделения с. е. имп. вел. канцелярии (ныне Историко-Революционного Архива) 1 Эксп. (1861 г.) № 116 хранятся как самая записка, так и об‘яснения Щапова с изложением его участия в панихиде по крестьянам, убитым в с. Бездне. Самый характер записки передан Лопатиным не верно. Она написана, действительно, очень страстно, но без каких-либо резкостей и без обращения к Александру II на „ты“. Щапов подробно останавливается на „непросвещенности сельского народа“, на „необходимости увеличения школ в селах и городах“, на „постепенном правительственном подготовлении к представительству народных интересов“ и на областном общественном благоустройстве“. В конце записки Щапов просит Александра II даровать ему „прощение и свободу для мирного, скромного занятия наукой в каком-нибудь уголку в Петербурге, для напечатания сочинений и для приобретения содержания“, так как после ареста, с увольнением из Казанского ун-та и дух. академии, он лишился всех средств к существованию.

Записка, в противоположность указаниям Г. А. Лопатина, нисколько не „тронула“ Александра II. В своей резолюции от 21 мая 1861 г. он признал замечание

гр. Шувалова, что Щапов „несколько записался"—совершенно справедливым. „Все это доказывает,—заканчивает Александр II резолюцию,—какие в нем преобладают мысли и что за ним придется зорко следить, когда сочтем возможным выпустить его на свободу".

К стр. 156. Уже после отпечатания соответствующей страницы было обнаружено, что два абзаца поправок Г. А. Лопатина к „Воспоминаниям" А. Н. Баха не были перепечатаны. Исправляем в примечании эту оплошность:

„Кстати уже: на стр. 214 Бах говорит: „Часть этой суммы я передал Лопатину". Из всех денег, полученных разновременно Бахом с К-ва и из других источников, он вручил мне ровно 200 рубл. для совершенно специального назначения; позже были высланы в Петербург с тою же целью еще 300 руб., но, после моего ареста, они были выданы обратно отправителям (собственно С. Иванову) моим посредником по денежной части.

Еще слово. Как известно, народный „аграрный террор" выражается прежде всего поджогами,—подпусканием „красного петуха", чем и об'ясняется данная мною „молодым народовольцам "кличка, представлявшая краткую характеристику практической программы действий, а не надсмешку над личностями, как можно, пожалуй, подумать из слов Баха (февр., с. 201). Когда все недоразумения выяснились и уладились без всякого умиротворяющего посредничества Баха, Якубович и К° были моими деятельнейшими сотрудниками, и наши взаимные отношения стали самыми тесными и сердечными".

Автограф поправок Г. А. Лопатина к воспоминаниям А. Н. Баха хранится в Музее Революции; датированы они „Вильно, 7 марта 1907 г.".

К стр. 157. Караулов, Василий Андреевич, род. в гор. Пензе в 1854 г., дворянин Саратовской губ., образование получил в Витебской гимназии, а потом в Петербургском ун-те. Арестован 4 марта 1884 г. Судился, как и упоминаемые ниже Шебалин, Панкратов, Мартынов (Борисевич), по процессу 12-ти (1—9 ноября 1884 г. в Киевском военно-окружном суде); приговорен к каторжным работам на 4 года. В Шлиссельбург доставлен в декабре 1884 г. Освобожден из тюрьмы в 1888 г. и отправлен на поселение в Сибирь; амнистирован в октябре 1905 г. В качестве члена конституционно-демо-

кратической партии был выбран в III Госуд. Думу. Умер 19 декабря 1910 г.

Указания на литературу о В. А. Караулове, равно как и о М. П. Шебалине, В. С. Панкратове, Н. Мартынове см. в примечаниях, составленных Р. М. Кантором, к „Запискам" В. С. Панкратова, Петр. 1922. Изд-во „Былое.

К стр. 159. Шебалин, Михаил Петрович, род. в 1857 г. в Казанской губ., сын мирового посредника; окончил Каменец-Подольскую гимназию, а в 1882 г. физико-матем. факультет Петерб. ун-та. Арестован 4 марта 1884 г., вместе с женою, урожд Богораз (умерла 1885 г. в Московской пересыльной тюрьме), судился по процессу 12-ти и приговорен к каторжным работам на 12-ть лет. В Шлиссельбург доставлен в дек. 1884 г., откуда в ноябре 1896 г. увезен в Вилюйск. Амнистирован в октябре 1905 г.

К стр. 159. Панкратов, Василий Семенович, рабочий, народоволец; арестован в 1884 г.; по процессу 12-ти был приговорен Киевским военно-окружным судом к каторжным работам на 20 лет. В Шлиссельбург привезен в конце 1884 г. По манифесту 1896 г. срок был сокращен на треть; в марте 1898 г. был отправлен на поселение в Якутскую область. В 1917 г. в качестве комиссара Временного Правительства при бывш. императоре Николае II, высланном в Тобольск., снова выехал в Сибирь. Его записки о Шлиссельбурге печатаются в настоящее время отдельным изданием с примечаниями Р. М. Кантор издательством „Былое".

К стр. 159. Мартынов (Борисевич) Николай, род. в 1855 г. рабочий; 3 марта 1884 г. арестован в Киеве под фамилией А. А. Борисевича. Судился по процессу 12-ти и осужден в каторжные работы на 12 лет. В Шлиссельбург водворен в дек. 1884 г.; освобожден из тюрьмы в 1896 г. Покончил жизнь самоубийством в Якутске, по одним сведениям, в 1903 г., по другим—в 1900 г.

К стр. 160. Лаговский, Михаил Федорович, род. в гор. Нерехте (Костромской губ.), в июле 1856 г. в чиновничьей семье. Воспитывался сначала в оренбургской воен. гимназии, и в 1875 г. выпущен из Московского воен. училища в чине прапорщика. Привлекался впервые за хранение нелегальной литературы в 1881 году. Сосланный административным порядком в Сибирь он

оттуда в сент. 1883 г. бежал и в 1884 г. вступил в ряды партии „Народной Воли". Арестован в апреле 1884 г. в Петербурге и в административном порядке, 10 окт. 1885 г., заключен в Шлиссельбургскую тюрьму на 5 лет; впоследствии срок продлен до 10 лет. В 1895 г. выслан в г. Каракол (Пржевальск); в 1898 г. был возвращен в пределы Евр. России. Утонул 29 мая 1903 г.

К стр. 165. Список работ П. Л. Лаврова, написанных им в ссылке, приведен в книжке П. Витязева, Ссылка Лаврова в Вологодскую губ. и его занятия антропологией. Вологда, 1915.

К стр. 166. Анна Павловна — А. П. Чаплицкая († 1872 г.), вторая жена П. Л. Лаврова. Об отношениях Лаврова к ней и к парижским коммунарам — см. статью П. Витязева, П. Л. Лавров в 1870-1873 гг. в „Материалах для биографии Лаврова", вып. I. Петр. 1921, с. 14 сл.

К стр. 167. О какой „Инструкции революционерам", составленный якобы П. Л. Лавровым, идет речь — к сожалению, точно, не удалось установить. Не говорит ли Сажин — о первой программе журнала „Вперед!", ходившей по рукам в литографированном виде, о которой упоминает П. Ткачев в своей брошюре „Задачи революционной пропаганды в России" (1874), как о „возбудившей одно негодование во всех честных кружках нашей молодежи".

К стр. 168. Два стихотворения П. Л. Лаврова „Пророчество" и „К русскому народу" были напечатаны А. И. Герценом, вместе с препроводительным письмом, не в „Полярной Звезде", а в четвертой книжке „Голосов из России" (Лонд. 1857); см. об этом автобиографию П. Л. Лаврова в „Вестн. Евр." 1910, № 10, с. 97.

К стр. 171. Г. А. Лопатин говорит о статье „Украинца" Революционеры и естественный ход событий („Вестн. Нар. Воли" кн. 1); до известной степени, „моральное оправдание террора" П. Л. Лавров дал в своей статье „Социальная революция и задачи нравственности" („Вестн. Нар. Воли", кн. 3 и 4), перепечатанной под тем же заглавием отдельно издательством „Колос" Петр. 1921.

К стр. 172. Об отношениях П. Л. Лаврова к Парижской Коммуне, кроме указанной выше статьи П. Витязева в первом выпуске „Материалов для биографии. П. Л. Лаврова" 1921), см. еще книгу П. Л. Лаврова „Парижская

Коммуна 18 марта 1871 г.“ Изд-во „Колос“. Петр. 1919. Статьи П. Л. Лаврова об Интернационале, печатавшиеся в журнале „Вперед!“, в 1919 г. изд-вом „Колос“ выпущены отдельным изданием под заглавием „Очерки по истории Интернационала“. С предисловием и примечаниями П. Витязева.

К стр. 172. Так называемая „Любавинская история“, сыгравшая роль в деле окончательного разрыва К. Маркса и Бакунина и исключения последнего из Интернационала, состояла в следующем. Книгоиздатель Поляков предложил Бакунину перевести на русский язык первый том „Капитала“ Маркса и выдал ему часть гонорара авансом. Между тем, Нечаев убедил Бакунина, начавшего уже перевод, отказаться от работы под тем предлогом, что Бакунин весь нужен для революционной деятельности, и, без ведома Бакунина, написал, от имени революционного комитета, письмо некоему Любавину, бывшему посредником между Поляковым и Бакуниным. В этом письме Любавину запрещалось под страхом смерти требовать от Бакунина возвращения аванса. Карл Маркс, не зная всех обстоятельств дела, назвал поступок Бакунина мошенническим. Об этой истории — см. В. Полонский, Бакунин. М. 1920; — Меринг, К. Маркс. История его жизни Пет. 1920; — Э. Бернштейн, К. Маркс и русские революционеры „Мин. Годы“ 1908, № 10; — К истории исключения Бакунина из Интернационала „Минувш. Годы“ 1908, № 4; — Письма К. Маркса и Фр. Энгельса к Николаю — ону. Петр. 1908 (Из „Минувш. Годов“).

К стр. 173. Смирнов, Валериан Николаевич, с. надв. советника, р. 1848 г; за принадлежность к нечаевскому делу был привлечен к дознанию, но, отданный на поруки, до суда бежал за границу. В Цюрихе принимал деятельное участие в основании Славянской Секции Интернационала; впоследствии был секретарем редакции и одним из деятельнейших сотрудников журнала „Вперед!“ Умер в Берне в 1900 г. — Кулачная расправа, о которой говорит Г. А. Лопатин, произошла в Цюрихе,—26 марта 1873 г. Сторонники Бакунина — Ралли, Соколов, Сажин и др. — в связи с раздорами по поводу „Русской общественной библиотеки“ в Цюрихе—жестоко избили Смирнова, бывшего секретарем ее. —Подробная библиография о В. Н. Смир-

нове указана в брош. П. Витязева „Письма П. А. Кропоткина П. Витязеву". Петр., 1921.

К стр. 173. Г. А. Лопатин говорит о резком памфлете-брошюре П. Ткачева „Задачи революционной пропаганды в России, Письмо к редактору журнала „Вперед!" (апрель 1874 г.). В ответ на эту брошюру П. Л. Лавровым написана брош. „Русской социально-революционной молодежи". Лонд. 1874.

К стр. 175 и 177. По поводу выхода П. Л. Лаврова из редакции „Вперед!" подробнее см.: „Заявление" и статью „За четыре года" — „Вперед!" (Лонд.) 1876, № 48; — П. Л. Лавров о самом себе „Вестн. Евр." 1910, № 10, с. 103 — 104; — П. Л. Лавров. Народники-пропагандисты 1873—1878 г.г. Спб., 1907, с. 276—277, 294—297; — В. Богучарский, Активное народничество. М., 1912, с. 124 — 131.

К стр. 176. Идельсон, Розалия Христофорова (урожд. Якершберг)—жена Вал. Н. Смирнова—одна из главных организаторов (преимущественно по финансированию) журнала „Вперед!"—О ней см. брош. „Письма П. А. Кропоткина П. Витязеву". Пет. 1921, с. 14—15.

К стр. 176. Подолинский, Сергей Андреевич, сын помещика Киевской губ., р. 1850 г.; в 1871 г. окончил Киевский ун-т по физико-математ. факультету; принадлежал к украйнофильской партии „Громада". Проживая за границей в перв. полов. 1870-х г.г. был в близких отношениях с П. Л. Лавровым, помогая ему денежными средствами для издания журн. „Вперед!". Впоследствии вернулся в Россию.

К стр. 176. Автором известной агитационной брошюры 1870-х г.г. „Хитрая Механика", многократно переиздававшейся и переделываемой и впоследствии, был известный статистик Вас. Егор. Варзар (род. 16 дек. 1851 г.).—О нем см. С. Венгеров, Критико-биографический Словарь, т. IV, отд. II, с. 86—89.

К стр. 177. Рихтер, Дмитрий Иванович, известный статистик; в 1873—1876 г.г., проживая за границей, был наборщиком типографии журн. „Вперед!". Умер в 1919 г.—Некролог его—см. „Вестник Литературы" 1919, № 7.

К стр. 185—195. В напечатанных стихотворениях Г. А. Лопатина, к сожалению, вкрались некоторые ошибки,

установить которые пришлось уже после отпечатания соответствующих страниц: на стр. 186 пятый стих стихотв. „Стучащие духи“ следует читать: „Но дерзкая публика шумно...“;—на стр. 189 пропущен под заголовок стих. „Dies natalis“ (На 13 января 1890 г.);—на стр. 190—в том же стихотворении стихи 4 и 9 следует читать: „от счастья плакавшие глазки“ и „случалося тогда, что в ранние часы“,—на с. 191 в стихотв. „На поздравление с Новым Годом“—шестой стих следует читать: „по всем усопшим справить тризны“;—на с. 192 в стихотворении „На Новый Год“—девятый стих следует читать: „пусть чаще освежает сон“.

Сборник, посвященный Г. А. Лопатину, был задуман тотчас после его смерти и отчасти тогда же были собраны печатаемые материалы. Но независящие от составителя сборника обстоятельства слишком задержали выход его в свет, и сборник появляется не совсем в том виде, как хотелось бы его составителю. Потеря рукописи части книги, слишком поспешное отпечатание некоторых листов ее—не могли не отразиться на характере издания: ряд комментариев, отчасти восстановленных заново, напечатан в конце книги а не в соответствующих подстрочных примечаниях, как это следовало бы. Теми же причинами об'ясняется и то обстоятельство, что автографы двух статей Г. А. Лопатина были отысканы уже после отпечатания соответствующих страниц, и изменения пришлось сделать тоже в дополнительных примечаниях. При составлении библиографии и дополнительных примечаний ряд ценных указаний были сделаны П. Витязевым и Р. М. Кантором, за что считаю своею обязанностью принести им искреннюю благодарность.

А. Шилов.

СОДЕРЖАНИЕ.

От редакции 3

I. Автобиография Г. А. Лопатина с предварительной заметкой и письмом Г. А. Лопатина В. В. Водовозову 7

II. Показания Г. А. Лопатина со вступительными заметками А. А. Шилова 17

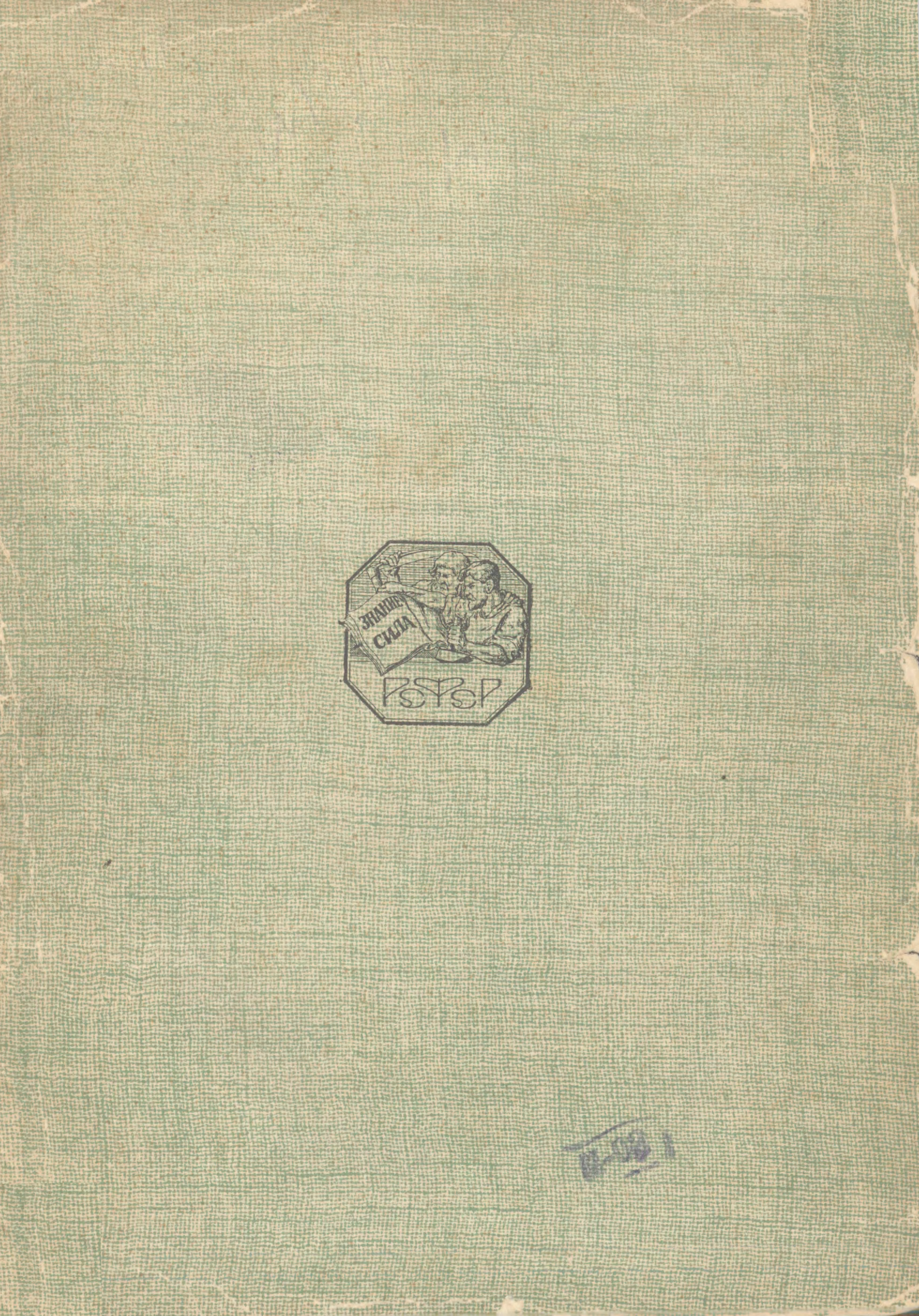
1. Г. А. Лопатин и Каракозовское дело 19
2. Участие Г. А. Лопатина в «Рублевом Обществе» 27
3. Пребывание Г. А. Лопатина в Ставрополе 43
4. Пребывание Г. А. Лопатина в Сибири и его неудачная попытка освободить Н. Г. Чернышевского 63

III. Произведения Г. А. Лопатина 89

1. Из Иркутска 91
2. Не-наши 101
3. Письма Г. Лопатина редактору газ. «Daily News» и Александру II по поводу «амнистии» 9 янв. 1874 г. . . . 124
4. А. П. Щапов 127
5. Воспоминание об И. А. Худякове 135
6. Вместо внутреннего обозрения 142
7. К истории осуждения д-ра О. Э. Веймара 153
8. По поводу «Воспоминаний Народовольца» А. Н. Баха . 154
9. В. А. Караулов 157
10. Из рассказов о П. Л. Лаврове 161
11. К рассказам о П. Л. Лаврове 164
12. К истории «Вперед» 177
13. Первые дни революции 177
14. Поблажки династам 182

IV. Стихотворения 185

V. Библиография о Г. А. Лопатине и дополнительные примечания к статьям его, составленные А. А. Шиловым 197


ЗНАНИЕ
СИЛА
РСФСР